Published in the Russian Federation
 Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute
 for Humanities of the Russian Academy of Sciences)
 Has been issued as a journal since 2008
 ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
 Vol. 13, Is. 4, pp. 976–1011, 2020
 DOI: 10.22162/2619-0990-2020-50-4-976–1011
 Journal homepage: <https://kigiran.elpub.ru>

УДК 394

DOI: 10.22162/2619-0990-2020-50-4-976–1011

У каждого своя Сибирь. Годы войны и депортации в монологах Л. Т. Дорджиева и Е. С. Басановой

Эльза-Баир Мацаковна Гучинова¹

¹ Калмыцкий научный центр РАН (д. 8, ул. И. К. Илишкина, 358000 Элиста, Российская Федерация)

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник

0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

© КалмНЦ РАН, 2020

© Гучинова Э.-Б. М., 2020

Аннотация. *Введение.* Эта публикация освещает особый период в истории Калмыкии, все еще недостаточно изученный антропологами — период Великой Отечественной войны и депортации народа в Сибирь (1943–1956 гг.). Она состоит из введения, двух интервью, комментариев к ним. Представленные нарративы принадлежат людям, встретившим испытания депортацией с разным жизненным опытом: фронтовик, лейтенант Л. Т. Дорджиев и элистинская школьница, дочь фронтовика Е. С. Басанова. *Цель* публикации — выявление и уточнение смыслов повседневных практик, подробностей бытия, которые были жизненно важными для поколения наших отцов и матерей, чтобы они остались понятными поколению детей и внуков. Другая цель состоит в том, чтобы понять: какие закономерности в конструировании нарративов о депортации можно проследить, какие образы и сюжеты являются значимыми, какие вербальные формулы и устойчивые выражения используют рассказчики при спонтанном повествовании и какие оценки событий прошлого и какими выражениями они дают. Оба интервью исследованы с помощью нарративного анализа. *Материалы* представлены в виде транскрибированных текстов спонтанных интервью, полученных автором в 2005 г. у Л. Т. Дорджиева и в 2018 г. — у Е. С. Басановой. К ним применялся текстологический анализ и метод деконструкции текста. Фронтальный опыт Дорджиева интересен исследователю не только индивидуальной, но и коллективистской стратегией, а также его участием в операции «Чечевица». Мужские стратегии сопротивления репрессивному режиму показывают правовую грамотность и умение говорить по-большевистски (С. Коткин) как приемы самозащиты, а также готовность защищать свое достоинство физически. Женское интервью показывает, как приходилось поколению калмыцких детей, индоктринированному советской идеологией, жить с ценностями советского общества и лояльностью к калмыцкой идентичности. Оба интервью являются конкретными примерами частной памяти о годах войны и депортации — памяти от «первого лица». Тексты интервью будут интересны всем исследователям депортации

калмыков и памяти об этом периоде. Дискурсивные стратегии этих двух нарративов говорят об их позитивном характере (Дж. Александер).

Ключевые слова: депортация, калмыки, репрессии, Великая отечественная война, Киргизия, Сибирь, сталинизм, память, нарратив

Благодарность. Исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект «Комплексное исследование процессов общественно-политического и культурного развития народов Юга России» (номер госрегистрации: АААА-А19-119011490038-5).

Для цитирования: Гучинова Э.-Б. М. У каждого своя Сибирь. Годы войны и депортации в монологах Л. Т. Дорджиева и Е. С. Басановой // *Oriental Studies*. 2020. Т. 13. № 4. С. 976–1011. DOI: 10.22162/2619-0990-2020-50-4-976–1011

UDC 394

DOI: 10.22162/2619-0990-2020-50-4-976–1011

‘Everyone Has One’s Own Siberia’: Years of War and Deportation in Monologues of Lidzhi T. Dordzhiev and Elizaveta S. Basanova

*Elza-Bair M. Guchinova*¹

¹ Kalmyk Scientific Center of the RAS (8, Ilishkin St., Elista 358000, Russian Federation)

Dr. Sc. (History), Leading Research Associate

0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

© KalmSC RAS, 2020

© Guchinova E.- B. M., 2020

Abstract. Introduction. The publication highlights a special period in the history of Kalmykia still insufficiently studied by anthropologists — that of the Great Patriotic War and nation’s deportation to Siberia (1943–1956) — introducing memories and narratives thereof. It consists of an introduction, two interviews, commentaries, and a bibliography. The presented narratives belong to individuals who had met the trials of deportation with different life experiences: front-line soldier, Lieutenant L. T. Dordzhiev — and Elista schoolgirl, daughter of the front-line soldier E. S. Basanova. **Goals.** The paper seeks to identify and clarify the meanings of everyday practices, details of life that were vital for the generation of our fathers and mothers, so that they remain understandable to the generation of children and grandchildren. Another goal is to understand what construction patterns in deportation narratives can be traced, what images and plots are significant, what verbal formulas and stable expressions are used by storytellers in spontaneous narration, and what assessments of past events and what expressions they give. **Materials and Methods.** Both the interviews will be explored through narrative analysis. The materials are presented in the form of transcribed spontaneous interviews received by the author from L. Dordzhiev in 2005, and from E. Basanova in 2018. Textological analysis and the method of text deconstruction were employed. **Results.** The front-line experience of L. Dordzhiev is interesting enough not only for his individual but for his collectivist strategy too, as well as for his participation in Operation Lentil (Russ. *Chechevitsa*). Male strategies of resistance to a repressive regime show legal literacy and the ability to speak Bolshevik (S. Kotkin) as means of self-defense, as well as a willingness to defend their dignity physically. The woman’s interview shows how the generation of Kalmyk children indoctrinated by Soviet ideology had to live with the values of Soviet society and loyalty to Kalmyk identity. Both the interviews are concrete examples of private memories of the war and deportation years — first-person memories. The interview texts will be of interest to all researchers of the Kalmyk Deportation and memory of this period. The discursive strategies of these two narratives speak of their positive nature (J. Alexander).

Keywords: deportation, Kalmyks, repressions, Great Patriotic War, Kyrgyzstan, Siberia, Stalinism, memory, narrative

Acknowledgements: The reported study was funded by government subsidy — project title ‘Socio-Political and Cultural Development of South Russia’s Peoples: a Comprehensive Research of Respective Processes’ (state reg. no. AAAA-A19-119011490038-5).

For citation: Guchinova E.-B. M. ‘*Everyone Has One’s Own Siberia*’: Years of War and Deportation in Monologues of Lidzhi T. Dordzhiev and Elizaveta S. Basanova. *Oriental Studies*. 2020. Vol. 13(4): 976–1011. (In Russ.). DOI: 10.22162/2619-0990-2020-50-4-976–1011

Введение

Депортация и жизнь в сибирской ссылке — важный период в истории калмыцкого народа. Долгое время у исследователей не было возможности ее изучать. Такая возможность появилась в конце 1980-х гг., когда были опубликованы Декларация и указ Верховного совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов: документов о ликвидации республики, по операции «Улусы», других ведомственных документов НКВД и МВД, связанных с надзором над калмыцкими спецпереселенцами. Эти чрезвычайно важные документы имеют свои ведомственные цели и отражают жизнь калмыков именно с этого ведомственного ракурса. Какие еще источники могут быть в распоряжении исследователя, если этноним «калмык» был запрещен, и 13 лет калмыки были невидимыми в публичном пространстве? Это песни о депортации, которые сложились об актуальном как современные посты в социальных сетях, но быстро стало ясно, что петь такие песни опасно, за это могут наказать. О том, как и чем жили калмыки в местах расселения в Сибири и Казахстане, как отмечали праздники и как трудились, как завязывали дружеские отношения с соседями и с одноклассниками и т. д., — обо всех ежедневных практиках репрессированных мы можем узнать из устных спонтанных рассказов тех калмыков, кто был спецпереселенцем. Самые интересные исследовательские вопросы — это как реагировала этническая идентичность на репрессированный статус, каковы были стратегии сопротивления репрессирующему режиму.

Перед вами очередные парные интервью спонтанных рассказов о депортации калмыков — Лиджи Такаевича Дорджиева (1922–2008) и Елизаветы Семеновны Басановой (род. в 1929 г.). Эти истории — часть

исследовательского проекта «У каждого своя Сибирь» — сбора и анализа спонтанных рассказов калмыков о годах, проведенных в Сибири. Это четвертая публикация парных интервью [Гучинова 2005; Гучинова 2008; Гучинова 2019].

В каждом интервью проекта ставилась «задача записать рассказ о повседневной жизни калмыков в условиях депортации, о стратегиях физического и социального выживания, о том, как переживалась стигма исключенности из общества на этнической основе. Меня интересовал не только период депортации, но и предыдущая жизнь: детство, школьные годы, период оккупации, как и последующий период: возвращение на родину и встреча с ней, а также и то, как менялся во времени комплекс чувств и мнений о депортации, ее причинах и последствиях высланных людей» [Гучинова 2005: 402].

Цель публикации — выявление и уточнение смыслов повседневных практик, подробностей бытия, которые были жизненно важными для поколения наших отцов и матерей, чтобы они остались понятными поколению детей и внуков. Другая цель состоит в том, чтобы понять: какие закономерности в конструировании нарративов о депортации можно проследить, какие образы и сюжеты являются значимыми, какие вербальные формулы и устойчивые выражения используют рассказчики при спонтанном повествовании, и какие оценки событий прошлого и какими выражениями они дают? Оба интервью исследованы с помощью нарративного анализа спонтанных интервью. Спонтанность речи представляет особую ценность для исследования, потому что именно свободная речь, первые приходящие в голову рассказчика ассоциации, эпитеты и термины нередко проговаривают большее — подсознательные оценки, показывают травматичность ситуации.

Представленные нарративы принадлежат людям, встретившим испытания депортацией с разным жизненным опытом. Лиджи Дорджиев был из тех школьников, кто после выпускного звонка пошел на войну. В его рассказе мы видим заботы простого открытого парня, умеющего дружить, оптимиста, который ведет себя смело и инициативно, адекватно обстоятельствам и не забывает о своих интересах. Мы видим, как непросто было Лиджи выживать в военные годы, что надо было полагаться не на судьбу, а на себя и товарищей, а также быть ответственным, знать писанные законы и неписанные правила. Вокруг него замечаем много людей, в том числе и потому, что щедрость и великодушие, добрый, веселый нрав всегда привлекают людей. По его повествованию мы видим, как вернувшиеся фронтовики становятся статусно старшими для своих высланных родственников, так как лучше понимают, что надо делать, и что их фронтовой путь и есть лучший символический капитал для советского человека. Особый интерес в нарративе Л. Т. Дорджиева представляет рассказ о том, как ему пришлось в составе своей воинской части принимать участие в операции «Чечевица», как был организован процесс депортации в селе Харалиевка Улус-Мартановского района в тот самый февраль 1944 г.

Лиджи Дорджиев, фронтовик, награжденный медалью «За отвагу», был демобилизован в 1947 г. и выбрал в качестве места поселения г. Пржевальск. Л. Т. Дорджиев прожил долгую жизнь, он посвятил свою жизнь зооинженерии, работал в Калмыцком НИИ мясного скотоводства. Проблема утраты калмыцкого скота, о которой давно говорят фермеры республики, оказалась важной для Л. Т. Дорджиева, чья кандидатская диссертация на тему «Калмыцкий скот, его совершенствование и рационализация дорашивания, нагула и откорма», защищенная в 1974 г., актуальна и сегодня. Пытаясь восстановить калмыцкие породы скота, утраченные за годы отсутствия калмыков на родине, Л. Т. Дорджиев работал над тем, чтобы восполнить значимые для скотоводческого народа потери тех лет. Эта задача не только из области зооинженерии, но и во многом задача, важная для национального самосознания — вернуть те виды скота, которыми гордились наши прадеды, с которыми наши предки пришли на Волгу.

Лиза Басанова была выслана ученицей шестого класса, жизненного опыта у нее совсем не было — она взрослеет, разбираясь сама в сложных жизненных ситуациях, следуя своему внутреннему нравственному чутью и советам старших родственников. В 1945 г. приходит из Широкагана ее отец, и жизнь становится легче, но не становится легкой. Умение работать, желание учиться, активность и прямота помогали Е. С. Басановой преодолевать трудности в непростой ссыльной жизни. Жители Элисты оценят малоизвестные подробности довоенной городской жизни: во что играли дети, как одевались, как отмечали праздники, имена школьных учителей, которые памятливы и поныне.

В тексте интервью для нас представляют интерес также гендерные аспекты поведения, ее стремление к знаниям, к самореализации, а не быстрое замужество — в этом видна ориентация на модернизированные ценности городской девочки, росшей в самом центре Элисты. Отразилась в нарративе Е. С. Басановой и ее профессия школьного педагога. В настоящее время Е. С. Басанова живет в Элисте, недавно отметила свой 90-летний юбилей.

Интервью с Л. Т. Дорджиевым состоялось в 2004 г., интервью с Е. С. Басановой — в 2018 г., при подготовке публикации текст был авторизован рассказчицей в 2020 г. Оба собеседника охотно рассказывали о прошлом. Им было приятно, что их жизнь и чувства интересны и важны следующему поколению, они не возражали против включенного диктофона, понимая значение фиксации разных голосов на особую для калмыков тему. Ниже представлены дословные транскрипты обоих рассказчиков.

Л. Т. Дорджиев

Родился я в Эркетенском районе, наш хотон назывался Хоогчуд (Хогчут). Отец мой был не богатый, но и не бедный, середняк. Родился 18 августа 1922 г. в урочище Менгн Яср. Сейчас эта территория принадлежит Лаганскому району, а раньше относилась к Эркетенскому улусу.

Пошел учиться поздно, в 10-летнем возрасте, в Улан-хольскую школу-интернат. Туда принимали в основном сирот и детей, у которых родители жили не в самом Улан-холье. У нас было так. Наш род *хоогчуд*

обитал в урочищах Зёргтин Толга, Мовлтын Гяддлтн, Менгн Яср. А когда коллективизация произошла, то разделили землю. И по распределению земли наш род, оказалось, входит в территорию Лаганского района. Тогда наши улан-хольцы говорят: ну что это вы будете в чужом районе, давайте переходите в Улан-хол. Тогда наши переехали в урочище Мацкахна, где ваш (мой. — Э.-Б. Г.) род жил.

Ваши (мацкахна) уже жили оседло, там были мазанки, дома. Это было в 1930–31 гг. Туда мы переехали и стали строить дома. В первую очередь дядя построил, потом остальные стали обстраиваться. Дома были камышитовые: стены из камыша, их с обеих сторон обмазывали глиной. У хоогчудов была своя школа, она была раньше на старой территории. Мы в Лагани купили деревянный дом и перевезли его на новое место между мацкаханами и хоогчудами. Зимой ночью сгорел дом Аляева Хоша из нашего рода. В этот же год было много простудных заболеваний среди наших. В то время больниц не было. Мангутов Пюрвя и вся их семья — отец, мать, тетка в этом урочище умерли, и многие другие болели.

А родители были в то время еще религиозные. Чуть что — к священнику обращались: в чем дело, почему это так? Священник сказал: вы неправильно выбрали место. Оказывается, на этом бугре, где мы решили строиться, покоится прах зайсанга, человека белой кости, и нельзя было место рядом с его прахом загрязнять. А сгоревший дом был как раз от его могилы на расстоянии 20–25 м. Тогда мы забросили все эти дома и разъехались по разным местам: кто в Улан-хол, кто в Нарын Худук. А из наших близких родственников умер дядя мой, младший брат отца. Сейчас понимаю, что у него был радикулит сильнейший, он ведь был охотник. Видно, простыл сильно и на этой почве заболел и умер. Тут одно к одному.

Отец мой попал в совхоз им. Яковлева, это был один из руководителей советского государства, потом он был расстрелян как враг народа, и совхоз был переименован в 110-й Черноземельский. Потом и этот совхоз был закрыт, так как при серологическом обследовании стада обнаружилось много больных бруцеллезом коров...

Так как мои родители находились почти в 100 км от Улан-хола, я учился в школе-ин-

тернате. Отличником я не был, но успевал хорошо. Вступил в пионеры, в комсомол. Был инструктором юных ворошиловских стрелков, санинструкторов, противовоздушной обороны, потому что заработал значки 1–2 ступени. Меня даже стали заставлять других готовить.

В 1941 г., когда учился в 9 классе, пришло письмо из объединенного Лаганского военкомата, приглашение на пять человек: я, Церенов Иста, Яценко Сергей, Джакаев Саранг, Басангов Саранг. В то время мы были в Уланхольском районе, а военкомат был в Лагани. В этом письме требовалось, чтобы нам годовые оценки выставили по итогам четвертных и дали комсомольские школьные характеристики и от райкома комсомола, и мы все впятером поехали в военкомат 20 мая. В этот же день у нас был первый экзамен.

Мы приехали, и нас принял капитан Плотов, посмотрел наши дела: о, ребята хорошие. Мы вас хотим послать учиться в военное училище. А я не выдержал и сказал свое мнение: я, например, в военное училище не хочу.

— А что за причина?

— Мы в школе 10 лет учились, чтобы поступить в вуз, а если подошло время брать нас в армию, берите, пожалуйста. Я не отказываюсь служить в рядах Красной армии, но после армии буду продолжать учиться в вузе.

Он нам сказал напрямую: вы не понимаете политику. Сейчас недостаток в командном составе Красной Армии. Поэтому у нас приказ от правительства, от министерства обороны — ребят со средним образованием направить в военные училища. Хотите или не хотите, мы вас заберем и направим в военные училища. Вот выбирайте.

В Астрахани было два училища: пехотно-пулеметное училище и пехотное, в Симферополе — интендантское, в Тамбове — кавалерийское и пехотное. Джакаев Саранг и Яценко Сергей сказали: мы поедem в Ростовское артиллерийское, один — в Сталинградское танковое. Дошла до меня очередь, я сказал: раз такое дело — я поеду в Тамбовское кавалерийское.

Все, сказал он, мы вам дополнительно сообщим, езжайте по домам. А нам документы уже выданы, что мы окончили девять классов, первый экзамен уже прошел, и мы на экзамены больше не пошли.

Меня вдруг вызывает Э. Лиджи-Горяев, первый секретарь райкома комсомола, говорит: организуем пионерский районный лагерь и вас хотим направить пионервожатым.

Отец работал в управлении Черных земель объездчиком. Родители мои жили еще в калмыцкой юрте. Сейчас это пос. Комсомольский, а тогда называлось урочище *Халтрин боро*. В этом урочище в 1941 г. была животноводческая точка колхоза «Красный камышаник» Ставропольского края. Вот почему, когда калмыков выслали, Ставропольский край построил поселок с тем же названием «Красный камышаник» и чуть ли не создал район по обслуживанию отгонных пастбищ Ставропольского края.

В Улан-хольском районе был пос. Тевктя. В нем организовали пионерский лагерь. Я был там вожатый, а напарник мой был Сангаджиев Григорий. 22 июня он поехал в Улан-хол, к матери. Вечером он приезжает и говорит: Лиджи, война началась. Он был моложе меня на год, не был призван, а я-то уже приглашен был в военкомат. Тогда на следующий день, в понедельник, я приехал в Улан-хол, говорю в райкоме: освободите меня от работы в пионерском лагере, раз война началась, я должен сообщить в военкомат и идти служить. Я позвонил Потлову, спрашиваю: мне надо ехать уже? Нет, мы отправили запрос и ждем ответа от военных училищ. Как ответ придет, мы вам сообщим. Где вы будете?

— Я поеду в Нарын худук к своим родителям, они там в степи живут.

Я так и сделал. Поехал, попрощался. Жду сигнала. Недели две я погостил у родителей, с ними попрощался и поехал в Нарын Худук, где жили две мои тетки. Я был у тетки младшей, прибегает девушка-телефонистка — я их предупреждал — Вас приглашают к телефону из Лаганского военкомата. Это звонил Потлов: 18 июля Вас отправляют в армию. Это было примерно 15 июля. Я тут же попрощался. Зять, теткин муж, оседлал двух лошадей и повез меня в Лагань. 17 июля мне вручили конверт с моими документами. Там было написано: г. Ленинград, улица Глинки, д. № 2. Ленинградское военное ветеринарное училище. Я говорю капитану Потлову: куда же Вы меня посылаете? Я же говорил — в Тамбовское кавалерийское училище. Он мне сказал: в

Тамбовском училище набор закончился, а в Ленинградском — еще нет. Вы хотели служить в кавалерии, мы вас в кавалерию и направляем. Там еще и специальность получите. Война началась, а в этом училище комплектование еще идет.

— Ну, война началась, мне отказываться от службы, что ли? Дал согласие и на следующий день уехал.

Меня провожал Болдырев Николай, из нашего рода. Тогда, в 1941 г., пароход к Лагани уже не приставал, а приставал в море, куда меня отвезли на катере. 18 июля в Астрахани, с 17-го причала я сел на пароход и доехал до Сталинграда, а оттуда поездом в Москву, потом — в Ленинград. Война вовсю шла.

Приехал в Ленинград, оказывается, надо сдавать экзамен. Я его сдал, вроде прошел. Медицинскую комиссию прошел, потом мандатная комиссия мне объявляет, что Вас решили не принимать, медкомиссия Вас забраковала, потому что вы страдаете плоскостопием. Такой человек в армии не должен служить. Мне так стыдно стало, что я такой ни к чему не годный. Война идет, а меня хотят отправить домой. И настаиваю: я хочу служить в армии.

Среди членов мандатной комиссии сидела пожилая женщина, в военной форме, четыре «шпалы» в петлице. Это военврач 1-го ранга, полковник. Она задает мне вопрос: «Вы откуда?». Говорю: из Калмыцкой автономной республики. Она спрашивает: «А Вы что-нибудь слышали в отношении 11-й армии?» Говорю: как не слышал? Каждый год через наше село Улан-хол едут артисты, шахтеры-стахановцы, по следам 11-й армии, рассказывают нам историю 11-й армии. Эта армия в гражданскую войну прошла по нашим территориям с Кавказа в Астрахань.

И она стала рассказывать членам комиссии: если бы не калмыки, мы бы все остались в сухой степи, пропали бы. Калмыки нас спасли, давали скот, продукты, транспорт. Благодаря помощи калмыков, мы бла-

¹ 11-я армия была создана на базе революционных войск всего Северного Кавказа в октябре 1918 г. и вела бои на Северном Кавказе. Через Калмыцкие степи она отступала, когда была разгромлена в конце 1918 – начале 1919 г., отступала с грабежами, насилием, большими потерями [Очиров 2009: 227].

гополучно добрались до Астрахани. Мое мнение такое: его не надо отпускать, пусть он остается в нашем училище, а то он потеряется. Давайте его оставим. Окончит наше училище, пешком ходить не будет, будет на лошади ездить, ничего страшного нет.

Она, оказывается, начальник санитарной службы этого училища. И все. Мандатная комиссия сказала: оставляем тебя. Я сказал: спасибо за доверие.

Эта женщина снова мне говорит: завтра в 10 часов обязательно приходи ко мне на прием в такой-то кабинет. На следующий день я пришел, а она мне и говорит: «Ты, дорогой, родился в сухой степи. А в Ленинграде климат морской, влажный. Ты можешь тут схватить туберкулез. Чтобы не схватить эту страшную болезнь, я тебе заранее назначаю лечение. Вот рецепт, получишь два лекарства. Будешь пить его два раза в день, где бы ты ни был». Я так и сделал. Мне дали рыбий жир и хлористый кальций. Я пил эти лекарства, и до сего времени у меня никакого туберкулеза не было. Вот так она спасла меня второй раз. А почему она это сказала? Она была в 11-й армии сестрой милосердия. После гражданской войны она закончила военный факультет мединститута. Но когда ввели офицерские звания, она стала полковником медицинской службы.

В этом училище из нашей республики училось человек пять: Пятаренко Григорий из Элисты, Нежута Пантелей из Приютненского района, Лепетюхин Петр из Сарпинского р-на, Тихонов Джал и Шевцов Василий из Городовиковского района и я. Позже мы друг друга признали, что земляки, а с Тихоновым Джалом мы попали в один класс. Оказывается, Тихонов Джал был призван со второго курса Башантинского совхоз-техникума, Нежута тоже агроном, он с Украины, кончил сельхозтехникум и приехал работать в Приютненский район. Война началась, и его взяли готового со средним образованием в училище.

Война уже подходила к Ленинграду, были тяжелые бои. 8 сентября Ленинград был уже в тяжелейшем состоянии. Немцы уже захватили Пушкино и Царское село. В то время Ленинградским фронтом командовал К. Е. Ворошилов. Видно, Ставка верховного главнокомандующего поняла, что Ленинград в критическом положении, и надо обязательно послать такого человека,

который исправит его. Прислали Г. К. Жукова. Как только Георгий Константинович появился командующим Ленинградским фронтом, по его приказу кроме тех воинских частей, что участвовали непосредственно в обороне Ленинграда, создали еще 6–7 истребительных батальонов за счет моряков Балтийского флота и учащих военных заведений, в том числе и нашего училища. До этого наше училище уже посылало один батальон чуть ли не выпускников на защиту города. А после этого приказа из нашего набора также сформировали батальон, и нас послали на оборону Ленинграда. 8 сентября воздушные налеты были, но они еще не могли бомбардировать город, а листовки они бросали. Создавалась такая обстановка, что в Ленинград вот-вот войдут немцы.

Жуков сумел мобилизовать все. Мы попали непосредственно на Ленинградский фронт. Там много погибло наших курсантов. Я получил там легкое ранение в боях. Когда оборона стабилизировалась, Ставка верховного командования отозвала Жукова на другой фронт. А он как дальновидный стратег издает приказ: курсантов военных училищ снять с фронта, пусть продолжают учиться. Нас сняли с передовой, и наше училище эвакуировали из Ленинграда. Это только название — эвакуировали. Некоторые училища вывозили самолетами. А нас посадили на Финском вокзале в пригородный поезд, вывезли в неотопливаемых вагонах на берег Ладожского озера. Там стояли два барака на берегу. Внутри в котлах вода кипит. Хочешь согреться, пей эту воду. Сухой паек был 120 грамм сухарей в день.

Вечером нас привезли. Нам сказали: под покровом ночи мы должны были пешком пройти через Ладогу на тот берег. Нам дают команду. Когда мы выходили из Ленинграда, нам сказали: возьмите учебники, по которым мы учились военному делу, и ваши конспекты. Дали по две простыни, подушечные наволочки, матрасные наволочки, одеяла. Как выйти на берег, нам сказали: из двух простыней сделайте маскхалаты, подушечные наволочки наденьте на голову для маскировки и в строй. 48 км в военном порядке надо пройти пешком за эту ночь. Идем в военном порядке.

Назначают разведку. Очередь дошла до меня, говорят: курсант Дорджиев, идите в разведку, и еще назвали двоих. И мы трое

выбежали. А там фонари «летучая мышь» стоят на льду. И когда мы шли строем, я выбежал из строя и попал в прорубь и ушел в воду. Оказывается, немцы бомбили, и полынья затянулась, но не полностью. Наверно, это счастье мое, что я не должен был погибнуть. Я, раз, одной ногой и второй в воде. Винтовка поперек стала и вещевого мешок, они меня удержали. Тут ребята бросили веревку, и меня вытащили. Я встал весь мокрый. Дали запасные портянки. Все остальное мокрое. Подоспел командир, забирает у меня вещмешок и винтовку и говорит: давайте сопровождайте бегом. Командир сказал: до берега осталось 12 км, добежишь — твое счастье. Бегите там, где фонарь «летучая мышь» стоит, — значит, проруби нет. Не знаю, сколько мы пробежали. Бежим, вдруг видим: сзади машина едет с горящими фарами, не должно так быть, не маскируется же. Оказывается, командир роты стоит на подножке, пистолет в руках. Командир говорит шоферу: этого курсанта доведи, если не доведешь, где-то через полтора часа мы вас догоним, и я сам тебя найду и лично расстреляю. Этот шофер где-то нашел тулуп. Оказывается, за этой машиной, полной людей, прицеплены сани, и там тоже люди, раненые. Я помню, что шофер меня завернул и положил туда. Сколько ехали, я не знаю.

Просыпаюсь в помещении. Потолок. Лежу я на кровати под одеялом. Посмотрел — весь целый, на ногах повязки. «Пронулся?», — говорят, — кушать хочешь?». «Как же, хочу». Оказалось, это эвакуогоспиталь. Оказалось, за это время мои портянки, сапоги обледенели. Когда их сняли, то обнаружили, что мои пальцы на ногах обморожены. Сделали перевязку. Я два дня лежал, не больше. А тут, оказывается, этот госпиталь должен эвакуироваться и куда-то переезжать. И всех, кто мало-мальски мог двигаться, они отпускали. Это дело я понял и говорю: отпустите меня. Неохота было лежать среди незнакомых, думаю: мне бы до училища, до своих ребят добраться. Сапоги мои были разрезаны. Мне дали валенки, перевязочный материал и красный стрептоцид², белого не было, что ли. И отпустили меня.

² Первое в мире синтетическое антибактериальное средство, первый препарат группы сульфаниламидов, снят с производства.

Никакого документа у меня нет. Но идти надо. В этом селе была церковь, подхожу, спрашиваю у людей: военное училище здесь было? Говорят: они прошли два дня назад, но, по разговорам, они тут недалеко остановились, в пяти километрах. Женщина одна говорит: ваш один в церкви лежит. Прихожу, смотрю. Он сидит, целый, не ранен, но голод-холод, что ли, — он невменяемый. Узнаю его по петлицам. У нас курсантские петлицы совершенно другие были. Были написаны буквы. Спрашиваю: «Пойдешь?» — Нет, не могу. Я пошел дальше по селу и в конце концов сумел добраться до наших.

Слава Богу, к обеду дошел. Наши в моем взводе обрадовались, приняли меня. А было у меня два друга — Королев Сашка и Молчанов Михаил. Они меня сразу к себе. Когда мы пошли дальше, один несет мой вещевого мешок, а там две простыни, матрасная наволочка, две подушечные наволочки, одеяло, еще личные вещи, книги, по которым мы учились, — вещевого мешок полный. Другой винтовку тащит, а к тому же еще каждому дали 120 патронов, две гранаты, малую саперную лопату.

Командир приходит проверять, кто как идет. А я иду в середине. Кто не может идти, сдают в госпиталь. А мне друзья Саша и Миша помогают. Говорю: вы меня не бросайте, я в госпиталь не хочу, хочу с вами. Как командир подходит, Саша бросает мне на плечо вещмешок, Миша — винтовку. Получается, я вполне нормальный человек, сам иду. Таким образом, они меня сохранили.

Мы же на войне, притом и территория опасная. Пока мы дошли до Тихвина, два раза на нас напала немецкая разведка. Хотя мы и бессильные, но мы все же люди, в конце концов. Лежим и стреляем.

Как мы добрались до г. Вельска Архангельской области, я пошел в городскую больницу. Там мне хотели отрезать большие пальцы обеих ног. Говорят: если будет заражение, вы умрете. Я тоже не дурак, понимаю, что, если заражение было бы, уже началось бы. Мог бы давно уже умереть. И говорю: резать не дам, умру, но целым. Врачи посмотрели на меня, что за человек. Они меня вылечили. Так мы добрались до Тихвина, оттуда нас посадили в теплушки, без печки, без ничего. И кое-как добрались до станции Ефимовка. Тут нас пересадили в

теплушки с печками. Только собрались тронуться, немцы нас разбомбили. Наше счастье, снаряды попали не в нас, а в соседние два вагона. Многие погибли, многие ранения получили. В Ефимовке был госпиталь, немцы его разбомбили. Наш эшелон перестроировали и отправили в г. Вологду. Оттуда нас повезли в г. Вельск Архангельской области.

По совести говоря, все мы приехали туда истощенные. Даже вот такой случай был. У меня были часы ЗИФ³, квадратные с браслетом. Я их покупал в Астрахани за 750 руб. В деревне Середка пришлось отдать эти часы за то, чтобы в деревне 3 дня нас троих кормили. Правда, когда мы уходили, нам с собой дали крестьянского хлеба и кусочек сала, грамм 300. А многие так не смогли. У курсанта Улиткина были часы Кировские, карманные, переделанные на ручные. Он за одну булку отдал эти часы в той деревне. А командиры ходят и говорят: если вы у местного населения что-то возьмете или украдете, мы вас расстреляем на том же месте как мародеров. Так жестко было.

После Тихвина нас стали уже кормить. В Вельске нас уже на норму поставили. Мы в Вельске три месяца не учились, нас только кормили, лишь бы мы на людей стали похожими. Мы были как ходячие тени. Постепенно мы поправились. Из нашего набора только 124 человека кончили училище — одна рота, а было набрано тысячу с лишним ребят. Выпускников, которые пошли защищать Ленинград, осталось только 15, они получили звания. В мае 1943 г. мы закончили училище, и я попал на Западный фронт, в 83-й Краснознаменный полк и участвовал в освобождении Смоленской и Витебской областей.

Потом наш полк перебросили на операцию по выселению чеченов⁴ и ингушей. У меня спросили: кто Вы такой, старший лейтенант? Говорю: лейтенант Дорджиев, калмык из Калмыцкой республики. Он сказал: Калмыцкая республика ликвидирована, а калмыки высланы. Также подняли другого лейтенанта. Младший лейтенант Джумабаев, казах из Челябинской области. Сказали: казахов мы не трогали.

Я был в селе Харалиевка Урус-Мартановского района. 23 февраля местное население мы собрали на площади этого села в 8 утра. У чеченов женщины [на митинги] не ходят, одни мужики пришли. Мы это собрание назвали митинг, посвященный Дню Советской Армии⁵.

Когда все мужики собрались, мы на всякий случай оцепили площадь и зачитали указ Президиума ВС СССР о том, что Чечено-Ингушская республика выселяется. Завтра сюда придет машина, каждую семью мы посадим. Завтра утром в 10 часов придет наш наряд и будет проверять ваши вещи. Проверять будут только на наличие оружия. При проверке никто из наших, офицеры и солдаты, не будут брать ничего. Если кто-либо из солдат и офицеров возьмет ваши деньги, изделия из золота, серебра, деньги или заем, доложите командованию, и этот человек будет расстрелян на месте как мародер. Но если кто-то из ваших сделает нападение на нашего солдата или офицера, убьет или ранит нашего солдата или офицера, то каждый десятый мужчина будет расстрелян на этой площади. Поняли условия? Берите продукты, теплые вещи, но тяжелые и громоздкие вещи не берите, в машине места не будет.

Мы оцепили больше 100 мужиков. Им сказали: добровольно положите на стол, у кого какое оружие есть. Один милиционер, по национальности чечен, положил наган, все остальные — свои кинжалы. Мы после этого поверхностно их обыскали: ни у кого оружия не было. Мы предложили выделить 10 человек — стариков, чтобы они прошли по селу и объяснили всем, чтобы готовились в дорогу, что готовится высылка, завтра утром к 10 придет машина, и надо упаковать свои вещи. А мужиков будем держать в школе до утра под охраной. Как только семья его придет с вещами, мы мужика вызываем из школы, сажаем на транспорт. 10 человек пошли по нашему заданию. Остальные сидели под охраной в школе. Утром пройдет наряд и проверит багаж на наличие оружия.

Людей собрали на площади. Машины должны были прийти в 10 утра, но до часу дня не пришли... Ждем, машин нет. Машины были американские — студебекеры.

³ Завод им. Фрунзе.

⁴ Так в речи рассказчика.

⁵ Оговорка рассказчика: тогда — Красной Армии.

ры шевроле. Тогда мне командир говорит: лейтенант Дорджиев, берите своего и моего ординарца и скачите в райцентр Улус-Мартан, встречайте там машины. Подъезжаем, видим: у края села едут машины. Остановились, спросили, куда они едут, выходит, к нам. Мы поехали назад, мы скачем, машины за нами. Но дороги неважные после дождя. Погрузили всех и отправили на железнодорожную станцию. Как их там грузили, как их разместили, я не знаю, там я не присутствовал. На следующий день видим, как скот, птица гуляет по селу. Там же и индвидуальный скот, и колхозный. Мы их закрыли. Ждем, что появится местная власть.

Действительно, вскорости пришли люди. Им говорят: кто хочет постоянно жить, берите дома, оформляли ссуду. Мы прошли по селу, может, кто остался. Смотрим: все вещи взяты, только кровати, столы остались и скот. Все имущество они взяли с собой. Мне кажется, выселение калмыков послужило уроком, и чеченцев уже так не выселяли как калмыков за полчаса или за два часа на сборы. Что это за время, скажите, пожалуйста? При выселении чеченов и ингушей им дали возможность все увезти, теплые вещи, деньги, ценности, продукты с собой взять.

После этого мы на 1-й Украинский фронт были направлены. По дороге я случайно в пути в Днепропетровске встретил друга. У нас была договоренность: если он будет в Калмыкии, он моих родителей обязательно навестит. Он извинился передо мной, говорит, что калмыки были высланы, и он не мог к моим родителям заехать. Мы говорили всего 10–15 мин. Его состав тронулся.

На фронте мне сказали: Вы — офицер, никаких ограничений Вам нет. Как служите, так и служите. Я тоже так думал: раз война, то служим. А как закончится война, то разберутся. Но как-то мне говорят: «Вас приглашают в отдел кадров 1-го Украинского фронта». Прихожу, начальник отдела кадров говорит: идите на вещевой склад, сдайте оружие. Дали мне продукты, аттестат, литер⁶. Прихожу обратно в штаб фронта, мне дают предписание, что лейтенант Дорджиев направляется в распоряжение

командующего Южно-Уральского фронта в г. Оренбург. Мы были уже за Львовом. Оттуда никакого поезда нет. Я доехал до Киева на товарных составах с разным военным грузом, а там уже сел на пассажирский поезд. Приехал я в Ростов. В литературе было написано, чтобы я из Ростова ехал на Москву. А я подумал: лучше я поеду через Грозный и Гудермес. С таким расчетом, что нет наших, зато по своей территории проеду. Так я и сделал: в Ростове сел на поезд, доехал до станции Грозный. Чеченов там уже нет.

Поезд был Москва-Баку, остановился. Я стоял, курил. Подходит ко мне солдат и говорит: товарищ вожатый, можно к вам обратиться? Я думаю: странное обращение. Посмотрел: Барабанов Миша! Спрашиваю: тебя когда в армию взяли? — В марте взяли. Мы поговорили, я у него не стал ничего спрашивать о калмыках. Он ушел. А почему он меня вожатым назвал, я ведь в школе был вожатым. Я уже кончил курить, вдруг меня окликают: товарищ лейтенант, обождите. Я оборачиваюсь: такой же лейтенант, только в артиллерийской форме. Я спрашиваю: что хотите? — Разрешите Ваши документы. Я говорю: «Вы разрешите Ваши документы на право проверки документов военнослужащего». Он достает из кармана бумажку, в которой написано, что он является старшим гарнизонного патруля станции г. Грозный и имеет право проверять документы. Тогда я ему подал удостоверение личности. Он посмотрел, говорит: пройдемте в комендатуру. Он так держал небрежно, я взял у него из рук и положил в карман. Говорю: если вы хотите проверять, кто я такой, я не возражаю, но только не в Грозном. Я еду в Оренбург. Мне надо сегодня добраться до Астрахани, там пересадка и надо успеть. Давай, доедем до Гудермеса. Там проверь. — Какой вагон? — 7-й. — Хорошо. Он привел двух солдат. Приехали в Гудермес, и как раз наш поезд приходит, а поезд на Астрахань уходит. Я, значит, не успеваю. Предлагаю: давай вначале вещи в камеру хранения отнесем. У меня с собой было много продуктов, меня ребята с фронта хорошо нагрузили. В камеру хранения сдали и пошли в военную комендатуру. А там сидел человек, который вроде некомпетентный в проверке. Минут 20 сидел я там. Приходит человек в гражданской форме, в руках несет что-то завернутое в газету.

⁶ Свидетельство для бесплатного или льготного проезда.

— Вы — лейтенант Дорджиев? — Я. — Пойдемте.

Барачного типа дом. Когда мы зашли, видно: одна дверь, другая. Стол стоит, стулья. Садитесь. В газете завернутый пистолет ТТ положил, командирский.

— Как ваша фамилия?

Я спросил: что, в вашей практике допросы под ружьем снимают?

Он говорит: извините. В этот момент открывается дверь и входит майор госбезопасности. Спрашивает: ты, лейтенант, откуда? Говорю: с 1-го Украинского. — А сюда как попал? — Вот привели меня, хотят выяснить мою личность. А этот майор был старшим при выселении чеченцев, наблюдал за нами. Он сказал тому, кто привел: это наш человек, мы его знаем. Стал расспрашивать меня про наших: кто сейчас где. Тот уже не стал с меня допрос брать. Война закончится — разберутся. Что будешь делать, лейтенант, ничего не поделаешь. Давай езжай дальше.

Тут еще два других офицера в Москву собрались, и мы втроем, нам делать нечего до завтрашнего дня. Они — армяне. Говорят, хочешь армянским вином угостим? Я говорю: ну, пойдем в камеру хранения, у меня там закуска есть, свиная тушенка. Они вытащили бутылку вина. Это же июль, сели на траве. Они говорят: вот это вино 15-летней выдержки. В отпуске были, домой заезжали, обратно едем служить.

Едем в Астрахань. Проезжаю через свою территорию. После Кизляра я не стал спать, хоть ночью. Приехали в 8-й разъезд. Остановился поезд. Смотрю, водовозка, запряженная верблюдом, и русский мужчина. Я спрашиваю, что за станция. Он говорит: это не станция, а разъезд. — А какие люди тут живут? Что за село? Он же меня ночью не видит. — Это Белое озеро. Да калмыки были, выселены. А в Улан-хол уже утром приехали. Я спрашиваю: а где русские, которые жили в Улан-холье? Мне сказали: многие разъехались кто куда. Транспорт ходит? — От случая к случаю. И я не пошел в Улан-хол, поехал в Астрахань. Там я встретил калмыков, правда, наших, улан-хольских, среди них не было. И то случайно встретил. По городу иду, вижу: один калмык рыбачит. Спрашиваю: кто ты такой? — Калмык. — А что сейчас делаешь? — Рыбачу. Нас с фронта сняли, сейчас в тюрьме

разместили, на ночь запирают, а днем мы гуляем. Нас собирают, хотят отправить.

Пошел к тюрьме, среди них никого знакомых нет. Побыл я дня три в Астрахани. Как-то иду, старушка кричит: ты кто по национальности — казах или калмык? — Калмык. — О, заходи, я калмыцкий чай тебе сварю.

Она действительно сварила калмыцкий чай. По-калмыцки говорила как калмычка, в совершенстве владела. Жаловалась, что кое-кто намекает, что с калмыками была связана.

Потом встретила девушку, она по распределению попала к нам, в Джильгиту, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом. Сейчас собирается ехать на родину, она из-под Киева. У нее пропуск есть, а вызов ей сделали фиктивный, по телеграфу. Она тысячу рублей заплатила телеграфистке. Старушка-татарка говорит: помоги ей билет сквозной достать. Ей дают билет от Астрахани до Саратова, а в Саратове ей снова надо билет доставать. Я ее повел: ну, какую версию придумать, чтобы ей билет достать. Говорю: ну, давай скажем, что мы муж и жена. Мол, перед войной женился на русской девушке. Говорю ему: под Киевом мать ее, хочу ее туда отправить, пока война кончится. Он даже не стал спрашивать удостоверение личности, написал бумажку: лейтенанту Дорджиеву сквозной билет от Астрахани до Киева за наличный расчет. Пошел в 7-ю кассу. Она заплатила деньги, и на этом мы разошлись.

Я поехал в Оренбург. Тут такое совпадение, встретил капитана Бадму Турлакова. Он говорит: много наших калмыков в Павловских лагерях под Оренбургом, офицеры. Я живу на квартире, будешь со мной жить. Закрепимся в гарнизонную столовую.

Они меня прикрепили к столовой, чтобы трижды в день меня кормили. Прихожу в столовую, спрашиваю: из Улан-хольского района кто есть? — Есть один танкист — лейтенант Церенов. — Хулста? — Да! — Скажите ему, чтобы завтра пришел к ужину.

Хулста прибежал, мы пошли на станцию Оренбург, и там целую ночь сидели вдвоем, вспоминали. Он закончил Сталинградское танковое училище, оборонял Сталинград. Он знает, что калмыков выслали, а причину же мы не знаем. Калмыков там было много, офицеры задумали письмо написать, что

мы, калмыки, хотим снова идти на фронт. Письмо послали, ответ еще не получили, меня уже отправили в Свердловскую область, Шалинский район, деревню Пермьяки, разъезд Вырубки в леспромхоз 4.

Второй раз я приезжаю в командировку в Оренбург, снова встречаю Турлакова, он был капитаном-интендантом, ему присвоили звание майора и послали в Бузулук замкомандира дивизии по материально-техническому снабжению. Когда я его встретил, он мне говорит, что после меня пришел ответ от Булганина, он разрешил калмыкам-офицерам вернуться на фронт. Многие вернулись, в том числе Хулста. Снова приезжаю и встречаю Турлакова, и он мне говорит: Хулста тяжело ранен, лежит в госпитале в Харькове.

Я занимал должность начальника транспорта. Этот леспромхоз занимался заготовкой леса для военных объектов, я отвечал за транспорт. Нас, офицеров, было мало. Остальные были из трудармии. Мы заготавливали в основном строевой лес, шахтенные опоры, березу для авиационной фанеры. Прямо перед концом войны, 5 мая мой начальник капитан Покровский меня направляет в Свердловск договариваться, чтобы облрайвоенкомат наших рабочих не трогали, в армию не забирали. Я поехал в Свердловск, в Уральский военный округ, в отдел мобилизации, взял письмо в Шалинский военкомат, чтобы наших рабочих не трогали. Оттуда приехал на узловую станцию Кузино, а поезд — на следующий день. В комнату отдыха зашел, лег спать на деревянный диван.

Ночью моряк один меня теребит: вставай, лейтенант, война кончилась. Я встал, не верится. Поздравляем друг друга. Моряк говорит: ну, что, давай по 100 грамм выпьем. Тогда водка стоила 400 рублей за литр. Ну, выпили мы по сто грамм. А там, на станции, шум-гам — война кончилась. Я думаю: мне надо скорее в деревню, там еще не знают, что война кончилась: ни радио нет, ничего. Спрашиваю: кто едет в сторону Кунгура, возьмите меня. Мне говорят: садись. Я говорю: мне в деревню Пермьяки. А они не останавливаются. Думаю: до следующего разъезда 15 км. И прыгнул. Тут они сразу затормозили. А там, на мое счастье, сугроб глубокий! Это в мае в Свердловской области. До земли я не достал, но ладони пошоркал.

Прихожу в деревню сообщить, что война кончилась, а там все пьяные и полупьяные. Оказывается, по селектору уже сообщали. У нас были две цистерны водки. Оттуда мы рабочим давали, кто хорошо норму выполняет. Был такой башкирин⁷ Аминов, он 200 % выполнял. Мы ему премию даже литром спирта давали. Руководство получает рабочий паек, дополнительный паек, спецпак. Мы водку держали для рабочих. Знали, что многие сами не пьют, а меняют на молоко, на картошку. Наши пьяные, песни поют. Так мы встретили победу.

Раз война кончилась, надо искать семью. Я и раньше искал, куда ни напишу в большие города, ответы приходят: нет. Тут пришло письмо, что «Ваши родители находятся в Алтайском крае», Алеевский район, Мамонтовское отделение Алеевского сахарного завода. Я письмо написал по этому адресу и одновременно рапорт в штаб, в областное военно-строительное управление в Оренбург. Дали приказ об отпуске. Одновременно получаю записку от непосредственного начальника: до моего приезда не выезжай, обожди. Он приехал в конце июля, после этого я оформил пропуск, поехал на родину, в Сибирь [смеется], на новую родину.

Война кончилась, все едут. Наша деревня Пермьяки относилась к Шалинскому району Свердловской области. А станция Шаль большая, через нее проходила линия Москва — Владивосток. У меня же литер военный, а там вагон полный, никого не пускают. Тогда между вагонами в тамбуре сел. Знал, что еду в Сибирь, с собой взял продукты. Доехал до станции Кузино. Сажу в тамбуре. Подходит ко мне старшина, русский: товарищ лейтенант, что Вы тут сидите? Отвечаю: в вагон не пускают, мест нет. — Пока из Москвы мы ехали, двух военных выкинули, тут жулье орудует. Вам нельзя здесь оставаться. Обязательно любыми средствами надо зайти в вагон. А у меня целых три вещевых мешка и чемодан.

Он схватил два мешка, и мы пошли. Открываем дверь одного вагона — закрыт, второго — закрыт, третьего — тоже. Четвертый вагон, на мое счастье, открыт, там сторожа нет. Оказывается, пассажиры сами дежурили, чтобы не пускать. Первое купе — проходите, мест нет. Второе купе — мест нет. В третьем купе говорю старшине:

⁷ Так в речи рассказчика.

положите вещи, я здесь буду. Смотрю, тут женщина, там женщина. А на самой галерке парень, похож на нас. Я им говорю: понимаю прекрасно, что вам надо ехать, но и мне надо тоже ехать. В первый раз добился отпуска, еду к родителям.

Парень с галерки здороваётся со мной по-русски. Говорю ему: давай слезай. Он в военной форме. Когда расспросил, парень — бурят иркутский. Вид у него неважный, после ранения, что ли. А у меня продукты с собой, все есть. Говорю ему: давай садись, кушать будем. Накормил его, а сам и есть не хочу. Он говорит мне: давайте наверх лезьте и там спите. Я буду охранять ваши вещи. Я полез, проснулся утром в 6 утра, смотрю: он сидит на моем чемодане, дремлет. Мне аж стыдно стало. Так со станции Кузино до самого Новосибирска я его кормлю, и спим по очереди. Оказывается, он после ранения попал в какой-то стройбатальон. Там плохо кормили, он болел.

В Новосибирск приехали, мне надо сойти и на Барнаул ехать, а ему дальше ехать. Оставил ему продукты, дал продовольственные талоны на четыре дня. В Новосибирске я сел в поезд на Барнаул.

В Алеевск приехал ночью, вышел из поезда. А там один еврей говорит мне: я знаю, где калмыки живут. Мы с ним пошли до сахарозавода. А сам он дошел до своего дома и исчез. Говорит: да где-то здесь. Хорошо, в пожарке свет горел. Туда пришел. Поздоровался и лег спать на солому. Я здесь лягу? Да, пожалуйста. Ночью где искать калмыков? Утром умылся. А тут уже калмыки стали появляться. Но, прежде чем идти к калмыкам, надо зайти к директору сахарозавода...

Зашел, представился, говорю: я старший лейтенант, прибыл в отпуск, знаю, что мои родители живут в Мамонтовском отделении вашего завода. Прошу предоставить мне транспорт. — Буквально через 20 минут приедет управляющий этого отделения, он Вас отвезет. Я вышел на улицу.

Прошло минут 25, подъезжает фаэтон, запряженный двумя лошадьми. Оттуда выпрыгнул мужик, зашел в контору. Потом подходит ко мне: Вы — лейтенант Дорджиев? Поедем, Ваши родители у нас. Говорю: у меня вещи в камере хранения. — Хорошо, заберем.

Сели мы, доехали до города. Он говорит кучеру: я пойду в райисполком, а ты с лей-

тенантом заведи его вещи. Забрали вещи, сидим, ждем. Тут проходит мимо наша улан-хольская девушка. Здороваётся. Спрашивает: Вы кто будете по национальности? Бурят, казах или калмык? — Калмык. — Откуда Вы? — Из Улан-хола. — А кто Вы?

Думаю: что она, совсем? Вместе в одной школе учились, даже зло берет, совсем не признает. И говорю: ты в четвертом классе писала предложение: «Лиджи учится хорошо, но дисциплина плохая»? — Так ты — Лиджи, что-ли?!

Тут идет Манджиев Лиджи-Гаря, артист. Ну, пошли на базар. Тогда я и не пил, взяли мы арбуз, втроем поели его. А тут и управляющий подъехал.

Едем, разговорились, догоняем горючевоз. Смотрю на последней подводе Цорхаев Каню, мы одного рода. Он на лошади и дремлет, а на второй лошади Кашиев, он сразу узнал меня: «О, Лиджи едет». Я тогда кучеру говорю, останови, пожалуйста. Оказывается, мои родители в Мамонтовском отделении, а они — в Платовском отделении.

Приехали в центральную усадьбу отделения, управляющий говорит кучеру: отвези его домой. Тот у меня спрашивает: где ваш дом? Я говорю: ты что, чудила? Я здесь в первый раз, откуда я знаю. Вези туда, где калмыки...

Землянки. Самые высокие — метровые, а то и полметра стены. Подъезжаем, перед землянками люди были, вдруг все спрятались. Тут девочка выходит и спрашивает: «Вы к кому?». Я говорю: «Где наши?». «А кто — ваши?».

Оказывается, они колоски собирали после уборки, сушат на улице и толкут. А этот управляющий собранные колоски отбирал. Они тарантас увидели, думали, что управляющий, и побежали прятать колоски и сами — прятаться. Когда я приехал, побежал отца искать, а сестренка в поле. Оказывается, отца нет, брата нет.

Землянка — ну, размером с эту комнату: три метра на пять. В центре печка, около двери — солома, и там вроде как спать можно. Это оказывается место нашей семьи. А всего жили четыре семьи в этой землянке. Я с собой брал продукты: сало, консервы.

Хорошо, что старушка русская, хозяйка, слышала, что я собираюсь ехать. Все время меня картошкой кормила. Я полу-

чаю продукты по трем карточкам как офицер, как начальник. А она все картошку варит. Я говорю: бабушка, а что Вы меня все молоком и картошкой кормите? — Ты же говоришь, что собираешься родителей проведать, в Сибирь эвакуированных? Она, оказывается, целых три месяца штабелевала консервы, сало, собирала тушенку, сгущенку. И начальник леспромхоза выписал мне материал, они-то понимали, где родители.

Наутро я прихожу к заведующему отделением, он мне дает рабочую карточку, как будто я у них работаю, и говорит: что надо, на складе возьми. Я у матери спрашиваю, что просить со склада, она говорит: чай и табак. А когда я пришел на склад, начальник вызвал кладовщицу, она немка, и говорит: что лейтенант захочет, то и возьмет. А там и мед, и чего только нет.

Спрашиваю: а где же отец? Отца увезли. Куда — неизвестно. В Алеевск сперва, а потом неизвестно. В Алеевск я приехал, уже распространился слух, что я приехал в отпуск. Средняя сестра прибежала с сыном из села Кашино. Старшая сестра где? Неизвестно, в Краюшинский район увезли... Тетка где? В Августовке. Вот так разбросаны все. Младшая сестра умерла еще на родине и младший братишка, а самый младший в дороге простудился, то ли сыпной тиф был. Он по приезду в Алеевский район умер. Остались младшая сестра и две замужние старшие сестры. Прихожу я к сестре в Кашино. Моя сестра говорит: калмыкам же скот обещали дать, нам телку обещали, но председатель колхоза не дает. Ты у него спроси.

Я пришел к нему утром рано. Он на улице, во дворе. Подхожу к нему и говорю: моей сестре такой-то положена телка. Когда она может ее получить? А я, правда, без погон, только фуражка на мне. Он в ответ: вам, понимаешь, бандитам, изменникам родины, еще и корову давай?

И я ему говорю: ты же не знаешь, сколько коров мы там оставили, и они все стали государственными. И не ты даешь, а государство, и оно тебе засчитает как сданное государству мясо. Что же ты в конце концов? А он все равно, нечего давать вам, изменникам родины и бандитам.

Ну, думаю, дурак такой. Думаю, ударить его надо. Но для этого же надо получить личное оскорбление. Такой порядок

существует. Я ему говорю: а кем ты меня считаешь, тоже бандитом? И подошел к нему близко. — Ты тоже такой же.

Ну, тут я его левой рукой шархнул. А вокруг ни одного калмыка, только мой племянник, которому десяти не было. Тут кто-то меня схватил сзади, и кто-то председателя тоже держит. Председатель кричит: отпустите меня, я его убью. И я говорю: отпустите его и меня отпустите. Посмотрим, кто кого убьет. Мужчина, что меня держал, оказался намного здоровше меня. Не дает мне даже шевельнуться. Говорю: отпустите нас. — Так вы снова будете драться. Говорю: если он не будет, то и я не буду, хватит с него — он один раз получил. И вот так получилось, что его отпускают раньше меня. Он успевает добежать до изгороди и вытащить оттуда дрын. И я понимаю, что, если сам побегу, не успею, он меня по спине ударит. Тут думаю: пойду ему навстречу. Он замахнется на меня, а я палку поймаю. Чувствую, что одолею его. Пошел на него, и вид у меня был уже настроенный. Он бросает палку и бежит со двора колхоза.

А все остальные русские — ни один меня не тронул. Настолько они справедливость показали в этом отношении. Мы пошли, племяннику я конфет купил. Прохожу мимо сельсовета. Выходит председатель Кашинского сельского совета и обращается ко мне: «Можно Вас? Вы кто будете? Пойдемте, поговорим в кабинете».

Я захожу, там сидит председатель колхоза и еще один молодой военный без погон. Все трое — русские. Я сел. — Кто Вы будете? Ваши документы? А я говорю, а Вы мне, пожалуйста, покажите документы на право проверять документы военнотруженика. Есть у Вас такое право?

— Я — председатель сельсовета, у меня есть печать. Тогда я ему поверил и дал свое удостоверение личности, он прочитал, а другой русский говорит: а ну-ка... Берет документ, прочитал его и — в карман. Я ему говорю: ты кто такой, какое имеешь право мои документы забирать? — А я — комендант над калмыками, проверю документы и верну. Я ему говорю: смотри, я тебе даю обещание: за то, что забрали мои документы, получите заслуженное наказание.

Я не попрощался, пришел к сестре и накатал под копирку жалобу в пяти экземплярах: первому секретарю райкома, про-

курору, военкому, начальнику МВД и пятый — для себя. Накатал, о национальной политике Советского Союза, о том, что я принял военную присягу и ее свято выполняю, с какого времени и по какое в армии служу. Что это за район, где разводится национальная рознь, обзывают человека незаслуженно. Какой я враг народа? Я защищал родину, понимаешь. Написал их фамилии. Прочитал. Поехал в Алеевск, показал это письмо Зургану Зодбиновичу Кульменову, он был главным бухгалтером в жомоткорме, а не на Алеевском сахарозаводе. Он, между прочим, защитник Ленинграда, получил там тяжелое ранение. Он прочитал, говорит: написано хорошо, можно отдавать. Ну и все. Я всем раздал — в райком партии, в военкомат, в МВД, в прокуратуру. А на пятый экземпляр взял росписи, что они получили.

Потом пошел в МВД, а там один калмык Цебек У. был комендантом. Я так мельком слышал, что он мог направо-налево использовать свое служебное положение. В том, что отец мой где-то, похоже, это его рук дело. Он начальником милиции был в Улан-хольском улусе. Прихожу к нему и спрашиваю: ты куда моего отца спрятал? — Отец твой должен сидеть или в седьмой тюрьме Барнаула, или в первой. Я сел на поезд и поехал. Прихожу в седьмую тюрьму, она в центре, говорят: Такаева Дорджи нет. — Где может быть? — Проверьте в первой тюрьме.

Я сел на трамвай, поехал в первую тюрьму, она оказалась за городом, в сосновом бору. Туда пришел. Спрашиваю у начальника: есть у вас Такаев Дорджи Басангович? — Есть. — Можно с ним встретиться? — Нельзя. — А в чем дело? — Потому что следствие еще не закончено. С ним свидание не разрешается. И я как начальник тюрьмы не имею права разрешить. Разве что следователь может Вам разрешить. Но я Вам советую, что не стоит заниматься этим делом, я чувствую, что скоро ваш отец уйдет домой. — А передачу можно дать? — Можно. Но ничего не пишите. Напишите только имя свое, а женщина, что отнесет передачу, ему скажет. — А Вы можете его вывести? Пусть он хоть меня увидит, обрадуется, что сын с фронта вернулся. — Нельзя, в криминальной практике такое бывало, что мимикой информация доходила. Вы можете помешать следствию. Должен Вам сказать,

что всякими способами его хотят привлечь к ответственности, и Вы можете помешать.

Женщина вернулась, говорит: ой, он так обрадовался, все продукты раздал в камере, [угощайтесь] ради моего сына говорит.

— А на следующий день можно передачу сделать? — Можно.

На второй день я так и сделал.

Домой приезжаю, мать чуть не плачет. Тебя уже три раза спрашивали из военкомата. Отца твоего посадили и тебя, наверное, посадят. Зачем ты ударил председателя колхоза? Тебя посадят как хулигана.

Я 25 км пешком шел в Алеевск, в военкомат к капитану Коровину. Говорю: лейтенант Дорджиев прибыл по вашему приказанию.

— Ты чего, фронтовик, только один раз его ударил? Надо было дать, чтобы он знал, кого оскорблять. Твое заявление разбирали на бюро райкома партии. Председателю колхоза — строгий выговор, председателю сельсовета — просто выговор, а коменданту, который забрал твои документы, будет такое наказание, как ты скажешь. Исполнение решения поручено мне. Покажи свой отпускной билет. Тебе неправильно дали отпуск. Тебе дорогу неправильно посчитали. Тебе полагается еще восемь суток, и семь дней я могу вам как военком прибавить. Так что еще 15 дней гуляйте. А сейчас идите к начальнику МВД, заберите свои документы. Он хотел их через меня передать, но я ему сказал: Вы сами брали, сами же и верните с извинениями. Зачем так было оскорблять? Человек воевал, а Вы его бандита называете?

Пришел я в МВД. Он, как меня увидел, сразу говорит: товарищ лейтенант, я извиняюсь, простите меня. Потом начальник МВД спрашивает: ну что, какое наказание дадим? Я сказал: раз он извиняется, то и хватит. Лишь бы он осознал, что так не надо поступать. Они мне вручили удостоверение личности, и я пошел.

Через месяц, как я вернулся в свою часть, получаю письмо от сестры, отца отпустили домой, никакого суда не было. Но отец больной, он целых восемь месяцев в тюрьме находился.

В 1946 г. так получилось, что меня в три воинские части направляли: то в одну часть, то отзовут в другую часть. Получается, катаюсь я, а на новом месте не отпросишься.

Отец умер летом 46-го, так получилось, что я его так и не увидел. До сего времени жалею. Потом я еще два раза был в отпуске и в третий раз демобилизовался в 47-м.

Я поехал в Киргизию, в г. Пржевальск. Последняя часть, где я служил, была топографическая — топотряд, в период войны они, оказывается, в Киргизии карты снимали, 25-метровки. Командир части, подполковник Сорокин — они же знают, что калмыки высланы — мне говорил: ты езжай не в Сибирь, а в Киргизию, тебе там будет лучше. В Пржевальске ваши живут, будет тебе там неплохо.

Потом и я сам опасался: встретится какой-нибудь дурак, еще его возьмешь и стукнешь. Хорошо, я тогда был офицер, мог за себя постоять, а когда на гражданке буду, то могут очень просто... Я знал, что там служил Мутл Барванцыков и Григорий Сангаджиев. И я им дал телеграмму, что демобилизуюсь. Они в ответ дали срочную телеграмму: приезжай в Пржевальск.

Написал я письмо министру МВД СССР, что я, демобилизовавшийся офицер Красной армии, выбрал для постоянного места жительства г. Пржевальск Иссык-Кульской области, и разрешите мне мою семью забрать. Я устроился там на работу. Но разрешение мне пришло, когда я был в командировке на китайской границе.

В 1948 г. в марте поехал в Сибирь за семьей. Оказалось, что срок разрешения надо продлить. Пришлось снова в Барнаул ехать. А там комендант краевой спецпрократуры был капитан Никитин. Я ему говорю: так и так, продлите мне пропуск. А он: послезавтра приходите. Я взял коммутатор и говорю: соедините меня с генералом. Тогда как-то интересно было, сейчас к мэру города не зайдешь... Соединили. Я говорю: вот такой я человек, я получил разрешение, мне надо его продлить. — Это к капитану Никитину. — Я звонил ему, он говорит: через два дня. А я же приехал с работы. — Сейчас я ему позвоню. — А можно меня не отсоединять, чтобы я слышал, какое Вы дали распоряжение? — Хорошо. — Соедините капитана Никитина и абонента не отключайте. Слышу, дает команду: капитан Никитин, срочно примите лейтенанта Дорджиева и подпишите ему документы. Он и пяти минут не потратил, подписал и печать поставил. Все.

Оттуда приехал в Киргизию и стал там работать. Десять лет работал на разных должностях, пока не вернулся сюда в 1957 г. В Киргизии я работал в государственной зооветеринарной сети сначала средним специалистом, потом заведующим зооветеринарным участком перевели в Иссык-Кульский район. Нас там второй раз выслали: калмыков, балкарцев и немцев из Пржевальска взяли и выслали. Из калмыков там осталось только три семьи: Баркаев Саранг Мучиряевич, зам. председателя Пржевальского горисполкома, Этеев, заведующий горземотделом, и один шофер, у которого жена была русская. Остальных всех, нас в том числе, из Пржевальска убрали.

Поехал я на северный берег озера Иссык-Куль. Приказ у меня был из областного управления, что я — заведующий зооветеринарным участком этого района. Все время я на должностях государственной службы. Несколько раз я получал денежные премии, был участником республиканской сельскохозяйственной выставки Киргизии.

Женился я в 1949 г. Ухаживал не так чтобы очень долго. Она жила в другой области, в Таласской. Мы там познакомились. В этом году у нас 55 лет, как мы живем вместе. Какая в то время свадьба, по совести говоря?! Сошлись и все. Собрались небольшим числом, пожилые люди нам сделали пожелания, моя мать, Сангаджиева Григория мать и теща, старики Хатуевы. И все на этом.

В Киргизии русские меня называли то Алексей, то Леонид, но я все время в документах писался Лиджи. В Киргизии у меня родились дочь и старший сын. Люда родилась 22 декабря. Говорю: девчонка, напишите, что родилась 1 января. Нет, не можем. А сын Володя родился как раз 1 января. Имя дочери выбирал не я. Моя сестра с четырьмя детьми, моя жена и мать — мы жили вместе. Пошли мы с сестрой в роддом, нам сказали: дочь родилась. Пришли домой, сказали дочь, а племянница Зина с печки крикнула: Людой назовем. Так и назвали.

А Володя... Новый год мы встретили, легли спать. Ночью сестра говорит: Наде надо идти в роддом. Пошли мы, Надю отвели в роддом, и я уснул. А сестра с матерью не спали и пошли снова в роддом, приходят и будят меня: вставай, сын родился у тебя. Никакого имени, ничего пока. Мы подня-

лись снова, мать пожелание сделала, сестра. Потом я говорю: нас с Людой приглашали на новогоднюю елку в райсельхозотдел. Мы с Людой туда приходим, и я там объявил, что у меня родился сын. Все стали меня поздравлять и избрали комиссию. Дали цветы, шампанское для врачей. Зашел разговор, как назвать. Один мой друг сказал: надо Володей назвать, владыкой мира. Ну, хорошо, тогда будет Володя.

Потом говорю: надо крестины делать. Думаю, одних калмыков пригласить — 30 с лишним человек, есть еще русские друзья — 30 с лишним, киргизов и казахов, с которыми я вместе работаю, — тоже 30 с лишним. Где же их разместить? Время зимнее, на улице нельзя. Тогда мысли такой не было где-то в столовой делать. Я пришел к выводу, что три раза будем делать. В первый день калмыков пригласили, второй день русских, третий — киргизов и казахов. Вот так три дня гуляли по тридцать с лишним человек. Вовке киргизы дарили скот, русские и калмыки — как обычно. Можно было бы дать и калмыцкое имя, но почему-то так получилось. А меньший сын родился в Яшкуле, он родился в год 350-летия вхождения калмыков [в состав Российского государства], в 1959 г. Я хотел его назвать калмыцким именем Сангаджи, а тут все сказали: Саша. Саша так Саша.

Когда я работал в Пржевальском районе, на учете не стоял и не расписывался в спецкомендатуре, офицер все-таки, а мать и сестра стояли на учете. Потом вдруг в 1949 г. было постановление. Нас одновременно выслали из этого района... Я заведующим в то время работал и даже хотел уже себе дом строить, лес готовил. Вдруг говорят: Пржевальск является пограничным городом, поэтому спецпереселенцам нельзя здесь жить. Взяли нас и по районам раскидали. Пришел в областное управление сельского хозяйства, говорю: такое дело, переведите меня в другой район. Начальник отдела говорит: «Как же так? Ты работаешь заведующим отделением, пользуешься авторитетом в области и районе, мы не можем тебя отпустить».

Пришлось объяснять, что это потому, что я — калмык. Тогда он мне говорит: побудь здесь часа два, никуда не уходи, сейчас приедут завсельхозотделом и главный ветврач, мы с ними посоветуемся. Они приехали, оба — ветеринарные врачи. Один из них

даже кончил Ленинградский ветинститут. Начальник ветотдела говорит: вот Дорджи-ев, знаете? — Знаем, во всех областных мероприятиях участвует. — А ему надо перевестись к вам. — С удовольствием примем. — А кем? — Заведующим ветеринарным участком в райцентре. Тогда Поланин подписал приказ.

К этому времени я корову купил, пришлось корову с теленком и возом сена на новое место перевозить. А я за ними на машине. Сопровождал меня узбек, чтобы я никуда не убежал. На мое счастье, этот узбек должен был в этот вечер быть на свадьбе в Пржевальске. Пришли к Прохорову. Где машина? — Машина ушла. — Надо было вас оправить в колхоз работать текменем. Я говорю: кому, может, и текменем, а кому — ручкой. — Где Вы остановились? — На улице. — В понедельник придете ко мне в 9. Говорю: в 9 не смогу, но в пол-одиннадцатого приду. Я пришел, приказ у меня. На наше счастье, там и дом был. — Надо было вас в колхоз отправить. — Напугал колхозом, я и без того семь колхозов буду обслуживать.

С сарт-калмаками мы общались. Они говорят по-калмыцки как цаатаны. Их мало. Всего три села, но они не теряют калмыцкого языка. Правда, в дом зайдешь — на калмыцкое убранство не похоже, похоже на киргизское. Но язык свой они не теряют. Пацан обязательно калмыцкий язык выучит. Потом они более грамотные, более способные среди местных. Если киргиз женится на сарт-калмычке — это, считается, большое достоинство.

Главным зоотехником Иссык-Кульского района был Шарип Хасанов, местный калмык. Заведующий районо Мочоев тоже местный калмык, его потом перевели директором Пржевальского педучилища. Турдыходжа Исхаков был зам. председателя Совета министров Киргизской республики, потом — министром сельского хозяйства. Еще был Чикеев, министр торговли Киргизской республики. Они лично мне не помогали, а кто во Фрунзе был, тем помогали.

История такая. Оказывается, оба закончили Калмсовпартшколу в Элисте. Исхаков учился Москве в Тимирязевской академии, и стипендию ему оплачивал Калмоблисполком, а Чикеев поступил учиться в Московский торговый институт, его стипендию

оплачивал Калмобком комсомола. Когда они выучились, вернулись в Киргизию. Там работой дошли до министерских должностей. Баркаев Саранг был зам. председателя горисполкома Пржевальска, депутат городского совета. Там говорили: если Саранг Мучиряевич на приеме скажет: так надо, то все верили, что больше не надо жаловаться. Этеев был депутатом городского совета и зав. горземотдела. Бадмаев Алексей Урубджурович был депутатом горсовета и директором школы ФЗО. Когда нас выслали из Пржевальска, Баркаев и Этеев остались, а Бадмаев переехал и стал в Иссык-Кульском районе методистом районо, а потом дошел до заведующего районо.

Когда Сталин умер, все районы и области давали телеграммы соболезнования. От Иссык-Кульского района такую телеграмму составлял не русский, не киргиз, а калмык — Бадмаев Алексей Урубджурович. Когда Сталин умер, мы не так чтобы радовались, все-таки человек умер, но и расстройств большого не было. А по совести говоря, какое зло больше? Сталин такую войну выиграл, это настоящий государственный деятель.

Нас всех собрали, чтобы сообщить о его смерти. Среди нас один был человек, ревизор-бухгалтер, бывший комиссар Хайниченко. Он один плакал из всего сельхозотдела, человек 30 нас было. Мы сожалели, что руководитель государства умер, но, как обычно, приняли.

Среди балкарцев у меня были хорошие друзья. Они по-человечески к нам относились. Мы прекрасно понимали, что находимся в одном положении.

В 1956 г., после XX съезда, мы услышали, что, наверно, будет «потепление». Было решено послать представителей регионов в Москву. От Киргизии поехал М. Б. Нармаев. Из Москвы нам сообщили, что будет передача по радио калмыцких песен. У нас был маленький приемник. Тут уже все обрадовались, стали собираться и праздновать.

В 1957 г. мой тесть, он работал в другом районе заведующим облфинотделом, сообщил, что его вызывают в Калмыкию. Мы все поехали во Фрунзе его проводить. Немного погодя я получил вызов из областного управления сельского хозяйства. Как я получил, сразу же рассчитался. Меня оставляли и говорили: что спешить?

Приехал на родину. Начали встречаться, знакомиться. Меня хотели в Элисте оставить, но вижу, что квартиры не дожидаться. Люде надо учиться. Начальник ветеринарного отдела Терентьев говорит мне: езжай в Яшкульский район на должность главного ветеринарного врача. Там Каргин был первый секретарь, а И. Ф. Азыдов — председатель райисполкома. Я зашел к Азыдову, говорю: у меня специальное среднее образование, не высшее, но меня направляют к вам главным ветврачем района. Каково Ваше мнение? — Ничего, говорит, приезжайте. — А квартиру дадите?

Он приглашает прораба Нарана Дорая, говорит: «Дорджиеву квартиру в одном доме с прокуром!».

Беру Дорая за руку: покажи, мол, что за дом. Пола нет, окна нет. Стандартный многоквартирный дом, но людей много прибывает, его на две двухкомнатные квартиры поделили. Тогда говорю: Наран, пожалуйста, пол поставьте и окно застеклите. Так мы переехали в Яшкуль. Начал работать, Люда пошла в школу. Надя устроилась на работу. Потом смотрю, один русский смиктил, быстро 4-комнатный саманный дом поставил, рядом кухня, и объявляет, что хочет продать дом. Спрашиваю: сколько хотите? — 30 тысяч. Поехал я тогда в Элисту и говорю: «Работу я принял, а где работать? Ветлечебницы нет. Надо ее создавать. Вот есть дом, который можно купить». Я тогда этому русскому говорю: покупаю этот дом. — Давай деньги. — Деньги в Элисте.

На попутной приехали в Элисту. Зашли в сберкасса. Вытаскиваю из кармана пять рублей и говорю: откройте счет на фамилию Половинкин. Со сберкнижкой пришли в госбанк (был он на том месте, где здание мэрии сейчас), и уговорили перевести 30 тысяч на этот счет.

Приехали, дом уже наш. В нем я начал организовывать ветлечебницу, штат. А деньги у меня еще остались. Терентьев дает телеграмму: приезжай колесо получай. Приехал, получаю две покрышки. Говорю: колесо я беру, а машины-то нет. — Не беспокойся, Дорджиев, вижу, что работать можешь. Хоть старую машину, но получишь.

На остаток денег купил мотоцикл, лошадей. Потом меня хотят поставить директором совхоза «Чилгир». А там работал мой земляк, его хотят снять. Я думаю; как это?

И говорю: совхозное производство не знаю. В Киргизии я работал в колхозах. Вот председателем колхоза могу. А Саврушов меня спрашивает: какая разница между колхозом и совхозом? Ответил: извините, из-за своего незнания ставить эксперименты на государственном имуществе не могу.

Через некоторое время мне дают пакет и говорят: езжай в Элисту. Если от этой должности отказываешься, из Яшкульского района уезжай.

Взял пакет, вручаю его зампреду Совмина Михайлову. «Товарищ Дорджиев, Вас рекомендуют на должность начальника инспекции сельского хозяйства и одновременно заместителем председателя Яшкульского райисполкома». Я говорю: согласен. Там я работал до июля 1960 г.

Я видел, как жили калмыки. Колоски в ручной мельнице толкли. Там, считай, крупные зерна целиком. Калмыки спаслись за счет картошки и сусликов. Смотрю: в картошку добавляют сахарную свеклу. Ну, какая совместимость? Вот в 1947 г. в Крайштинском районе в колхозе Карла Маркса я забирал родственников. Господи, как они жили — с семьей моей сестры в одной комнате жили три семьи. В честь моего приезда моей сестре дали полтора килограмма конины.

Это удивительно, что наш народ сумел выжить. Калмыки многому научились — как в трудных условиях надо выживать. Старались помогать друг другу по силам и возможностям. И так раньше родственникам, где бы ни были, помогали, а в Сибири — тем паче.

В Киргизии в первое время я тоже страдал. В 1948 г. карточную систему отменили, а торговли еще не было. Я получал первое время 750 рублей, а хлеб на базаре стоил 150–200, а то и 300 рублей, а нас восемь человек. У сестры было пять иждивенцев. Всех надо кормить. Мы плохо жили, несмотря на то, что я был ветврач и мог достать то айран, то кумыс, то яйца. Все равно, пока урожай 1948 г. не получили, было трудно. Когда урожай собрали, сестра получила хлеб за трудодни, я что-то получил, мы стали жить уже хорошо.

Главный виновник нашей ссылки — Берия, он неправильную информацию Сталину дал. Какая вина может быть у народа, если основное мужское население было на

фронте? Больше 500 человек предателей не наберется, а его корпусом называют. Так это пропаганда... Офицеров-калмыков в четырех местах собрали — в Ташкенте, Оренбурге, Новосибирске, Барнауле, — значит, сколько было офицеров. А многие до конца войны воевали. А сколько в Широком было?!

У меня был такой случай. На Первом Украинском фронте мне говорят ваших калмыков пригнали. Где? Я подхожу: ни одного калмыка. Говорю им специально: ментвтя (здравствуйте)! Они молчат. Я спрашиваю, а кто вы по национальности? — Калмыки. Я пошел к начальнику разведки. Говорю: это азербайджанцы, посмотрите на меня и на них. У них даже обличие другое. Вот такие хитрецы были. Калмыки вроде как более смелые, что ли. Калмыки, что перешли к немцам, многие были из 110-й дивизии, которая должна была на лошадях с шашками против танков воевать.

Мое мнение, что Жуков и Рокоссовский получали высокие награды за свои ратные подвиги. А Берии тоже хотелось, но он не воевал на фронте, армиями не командовал. Он мог получить награду только за контроль, только, если выдумает врагов народа. Я считаю, основной виновник — Берия и его подручные.

А есть такая версия. Наше МВД дает каждый день сведения в центр. Ведете работу с бандитами? Сказать «нет» — значит, бездельничаете. Вот и писали: одного поймали сегодня, двух — завтра. И вот каждый день из каждого района по одному человеку вроде как ловили. Сведения давали, а в итоге эти дутые цифры суммировались. А скажет: не поймал, значит — его самого надо привлекать за бездействие. Посмотрите, не найдете семьи, в которой никто не воевал: один, два и три человека из семьи. Да, многие не выдержали и ушли из 110-й против танков с шашками. Но разве он становился сразу же изменником? Оторвавшихся от своих частей людей бывает много, это война. Для этого существовала фильтрационная разведка. Других таких же — русских — был миллион. А к калмыкам предвзято получилось. Кто Сталину давал информацию? Берия. А как Сталин мог ему не верить, если он нарком? Вся разведка в его руках. Нужен очень объективный разбор этого дела.

Е. С. Басанова

Я родилась в поселке Ики-Тугтун Городовиковского⁸ района в 1929 г. Потом мы переехали в Элисту. Где-то с 32-го я в Элисте живу. Я была всегда активная, училась хорошо, всегда пользовалась авторитетом, на радио выступала. Конечно, детство у меня было счастливое. Это выселение — черное пятно у нашего народа, оно резко изменило нашу жизнь.

Мы — крещенные калмыки, оренбургские. Меня называли Лиза. У меня были сестра Клава, ей уже 90 лет, брат Владимир Семенович умер. Маму звали Настасья Кузьминична. Я не крещеная, а мои родители и дяди — все крещеные: у меня дядей звали Матвей, Никита — вот как в церкви назовут. То поколение оренбургских калмыков — все такие были. И такие обычаи у них — как у русских, мы же среди русских жили на Урале.

Когда Калмыцкую область автономную стали образовывать — не хватает населения, чтобы эту автономию дать. Стали калмыков отовсюду собирать: из Оренбурга, с Урала, из Ростовской области. И с Урала нас сюда привезли. Вначале они послали Жемчуева Петра Павловича, чтобы он подобрал место для переселения. Он приехал, выбрал Городовиковский район. Потом приехал и уговорил своих калмыков. Это было первое выселение. Все поехали товарняком. Может, и обрадовались, что автономию дают.

По дороге тиф напал на состав, они вагонами умирали. Рассказывали, что бегаем, плачем. Прибыли сюда в Городовиковский район уже с большой редкостью, здесь два аймака: 1-й оренбургский аймак и 2-й оренбургский аймак. Они люди трудолюбивые были, быстро освоились. Хлебопашеством занимались. Потом постепенно уезжали в Элисту.

Мы в 1932 г. уехали. Отец работал завхозом в больнице, мама была домохозяйка. Мама рано умерла, в 41-м, в начале войны. Нас осталось в семье две сестры и братишка. Шла война. Опекунство над нами взял дядя. Когда мама умирала, она просила своего брата: ты детей не раскидывай, дожидись их отца с фронта, держи их вместе, а дальше, как он захочет. Я попала в калмыцкий класс в первые два года. Калмыцкий язык

я не знала, практики не было, родители не говорили. Дома говорили по-русски. Оренбургские все такие, наверное, были: понимать понимали, но не говорили. В третьем классе меня дядя, он работал в Наркомпро-се, перевел в русский класс.

Жили мы в четвертом жилдоме, это тот двор, где сейчас лицей стоит⁹. Из нашего дома вышло много людей, кто для Калмыкии пользу принес. На углу стояла школа № 2, напротив милиции (это не та, что «в селе» на улице Ленина). В ней учились Юра Клыков и Володя Косиев. Это была очень хорошая школа. Педагогический коллектив сильный был, потому мы уехали в Сибирь с хорошими знаниями. Наши знания нас поддерживали морально. В ссылке все удивлялись: лицом-то мы азиаты, а по-русски говорили хорошо и учились все хорошо.

Директор школы у нас был знаменитый. Его на фронт взяли, убили в ту же неделю, а школа № 2 участвовала в партизанах, кузница героев. Пионервожатая партизанка у нас была, много ребят.

Юрка Клыков с нами учился, балованный он был, без конца его исключали. Учеников поставят в ряд, читают приказ и обязательно скажут: «Клыков, выйти из строя!». За нарушение дисциплины или если что-то не выполнит, исключают на три дня. Я была в «Зарнице», в его отряде, он меня называл «мой маленький Басанчик». Мы с отрядом в степи были в балке, травы нарвем и спим на такой постели. Он ловил змей и ящериц, в бутылку заталкивал. Он был очень балованный, матери родной, а отцу неродной, у них был еще мальчик общий. За тем уход был лучше, а Юрка был уличный, чернявый, худощавый.

Когда мы играли в военные игры, то он говорил: «Лиза, даю тебе чин генерала!». А я говорила: «Юра, зачем я буду белогвардеец, лучше буду лейтенантом». Он говорил: дурная ты, генерал — это старший чин. Мы играли в современные игры — в финнов, в челюскинцев, в папанинцев. У нас же снега нет, когда пойдет, то мы его лопатой наскребем у своего дома, сделаем амбразуры и играем. Тогда мы всех летчиков знали: Байдуков, Беляков, Громов.

⁸ Тогда: Западного улуса.

⁹ Четвертый жилдом находился на месте современного МБОУ «Элистинский лицей».

А еще была у нас лыжная подготовка. Тогда же финская война была. Вот мы из белых простыней нашьем маскировочные халаты и в сторону Вознесенки идем: играем, трещоткой делаем пулеметы. В войну играли перед войной. Подражали финнам, не красноармейцам. Не понимали же ничего. А потом в немцев играли. Заводилой во всем всегда был Юрка Клыков. Он и погиб вот так — издевался над немцами. У него были хромовые сапоги, отец же был энкаведешник. А он над немецким солдатом издевался, говорил ему: ты, мол, офицер, а сапоги какие, а у меня вот такие. Говорили, что разбежался и головой о стенку стукнулся. Отчаянный был, ох, отчаянный.

У него девушка была Лиля. Перед войной вышла повесть Гайдара «Тимур и его команда», и эту постановку делали в Доме пионеров, как раз его построили на улице Серова. Они играли эту пьесу, эта Лиля играла девочку Женю. Знаю, что было перезахоронение, всех партизан Б. Адучиева перезахоронили, где сейчас Вечный огонь. Рассказывали, что девушки приходили, и Лили Юрки Клыкова тоже участвовала.

Вот Косиев Володя интеллигентный был. Болдыр, мать же русская, красивый был — беленький, рыженький. Его мама Валентина Дмитриевна приезжала потом из Москвы, приходила в парк «Дружба» на встречу с пионерским отрядом, у меня фотокарточка есть.

Мы с Косиевыми жили в четвертом жилдоме до тех пор, пока им не предложили уйти оттуда. Младшая их Женя маленькая еще была, тоже красивая девушка потом была. Отца Хонина Косиева признали виновным, запачкали, подумать только, а он был крупный партийный работник, и из нашего дома его убрали.

Бадма Адучиев и жена его Нина Менковна жили на одной площадке: в той квартире Раина¹⁰ комната сюда, а у Бадмы сюда, а кухня общая. Бадма Адучиев был добрый человек. Моего братишку всегда по голове гладил, своих детей у них не было, а детей он любил. Еще в нашем доме жил художник Нусхаев Иван Сидорович, кудрявый такой.

Педеровы жили на первом этаже, напротив Раи. Мы с ней, когда война началась, слушали радио, дверь у нас открытая: Орел

сдали..., этот город сдали, тот сдали. Мы с ней сидели на ступеньках и переживали. Клава наша подражала Педеровым. Они — интеллигентная семья, обеспеченные, отец занимал хорошие посты. А мой папа работал завхозом в больнице. Ей хотелось не отставать от этих девчонок: они осенние пальто надевают, и она требует осеннее пальто. Помню, мама говорила: «Что ты равняешься, у них же вон какие родители, обеспеченные». Беретки у Раисы с Кларой одинаковые были, как сестры они ходили. Соседок наших Клару Педерову и Раю Азыдову многие помнят, в Сибири даже с других территорий узнавали про них, потому что они на пианино играли, а это в то время для калмыков было редкостью...

Первый раз Педеровы пригласили на елку. Мы ходили кататься на городской каток возле здания, где сейчас архив. Там музыка играла, весело было. Раньше не было с ботинками коньков, катались на таких — веревками прикрученных, я очень любила кататься. Вот устала, прибежала домой, а тетя (мамы уже не было) говорит: «Иди, Педеровы на елку приглашают». Быстрее нарядилась и пошла к ним. А у бабушки там дорожки были, обычные, рогожа — нам это казалось роскошью. Я разулась и думала еще: наступать на них или не наступать. Как тогда жили — печки топили, никаких удобств не было. А они на елку приглашали, подарки давали. Наверное, хватало на все, раз давали.

Война началась. Отца на фронт долго не брали, потому что трое детей. Мамы уже не было. Отец не удобствовал, видимо. Его возраст был призываться. Повестка придет, отзовут. Мамы же нет у детей. И так несколько раз. Он говорил, что по городу ходит и стыдно ему. Купил себе красивое седло, принес, в углу положил, думал, в кавалерию возьмут. Он был артиллерист. Долго он был тут под Ростовом в армии, окопы они копали в 41-м. Служил в 92-м гвардейском полку, его часть воевала в самом центре Сталинградской битвы. Откуда-то письма приходили из-под Сталинграда, а потом станция Половинка. Если бы его не сняли с фронта, он бы в самую мясорубку попал. А его сняли с фронта и отправили в Широкалаг. Я читала документы: в тяжелых условиях он там был, он выбыл с дистрофией 2-й степени.

¹⁰ Интервью с Р. Ц. Азыдовой планируется опубликовать в журнале Монголоведение».

Когда выселяли, я в шестом классе училась. Кто учился в той школе, мы все в Сибири хорошо себя показали. Все мы выучились потом, худо-бедно, но выучились. В первом классе меня учила Екатерина Дорджиевна Гечинова. А мою сестру учила Надежда Тютяновна Курашова, заслуженная учительница РСФСР.

Мы эвакуировались [в 1942 г.] и жили в Казахстане. Семья дяди осталась в поселке Кануково Астраханской области. Я хорошо училась, и дядя сказал: Лизу возьму с собой, чтобы она уроки не пропускала. Мы приехали в Сибирь, считай, много пропустили уроков, но быстро наверстали. Нас из Элисты выслали, и таких случаев было много: высылали из разных мест [членов одной семьи], и люди потом годами искали друг друга.

Так мы разминулись с тетей. Мы жили в длинном барачном доме. Обычно те, кто в обкоме работал, поздно с работы возвращались. Дядя в обкоме работал, часто задерживался. И тут идет он, медленно волочит ноги, у него свищи на ногах были. Он пришел и сказал тихо: «Маня, карачай». Тогда как раз карачаевцев выслали, мы сразу все поняли. От горя или чего там мы лампу потушили, легли спать. Лежим-спим, вдруг в окно один мужчина стучит: что вы спите, утром придут выселять, готовиться надо: режьте кур, что есть. А у нас ничего нет, одна курица была, ее зарезали.

Утром рано к нам пришли военные и сразу документы посмотрели. А у тети Мани был документ, что она жена комсоставская. Муж ее, Виталий Кирбасов, был танкистом. Они говорят: ну ладно, мы вам пришем подводу, у нас было много вещей, еще с эвакуации не расшитые, не разобранные. Утром рано подвода подошла. Мы говорим: еще карточку не отоваривали. Ничего, говорят. 28 декабря мы даже хлеба не успели взять по карточке, без крошки хлеба выселялись. Подвода подошла, и мы погрузили [вещи]. Но грубостей не было, хорошо к нам отнеслись.

Нас привезли в кинотеатр «Родина», мы там полдня сидели, людей полно, и все подвозят и подвозят. А в «селе» (западная часть Элисты) людей собирали в другом месте. К вечеру приехали студебекеры американские. Подруги наши орсмуд, подскочили к дверям, удивляются и кричат: что вы делаете?

Они же наши отличницы — за нас заступаются. Удивлялись: как это так? Какие же они враги? Они же комсомолки! Военные их отгоняли, а они долго стояли и не уходили, все хотели попрощаться.

Потом машины приехали, и нас быстро-быстро загрузили и — в Дивное. Загрузили нас в телятники, там уже были нары готовы в 2 этажа. Шум, гам, крик. У людей и перины были, а у нас совсем ничего. Кирбасовы нам дали ширдык (войлок. — Э.-Б. Г.) тонкий. Мы так ехали: дядя спит, я сижу. Я сплю — дядя сидит.

К нам вагон посадили дедушку-калмыка. Он приехал в Элисту из Троицкого на базар продать кизяки и купить доску чая калмыцкого. Его на базаре военные взяли и привели. Он был последним, кого привели, и оказался у входа. Там и щели громадные, и укрыться нечем, а холодина такая. А у него ни над собой, ни под собой ничего нет. И все он бормотал: «Ой, Булгн мини, она одна не справится, зачем я поехал? Она не справится, сын на фронте, бер¹¹ больная. Как же она соберет детей? Она же растеряется, не справится!». Дед, видимо, от холода, от голода по дороге умер. А мы не понимали — он по дороге затих, умер и заоченел.

Опять дверь открывается, и его, как всех мертвецов, в последний вагон загрузили. И я все время потом думала: пришел сын его с фронта? Я все время троичским это рассказывала, может, кто искал этого деда. Визуально я до сих пор его помню, коренастый с усиками, но никто так и не отозвался. А так он умер, и этого дедушку увезли. Нас где-то с середины пути стали кормить, мужчины наши стали бидоны с бурдой этой носить.

А у меня учебники с собой были и карты по географии. И мы следили по карте: то нас везут на север, то на юг. Никак не поймешь, куда нас везут. В нашем вагоне был Бадминов Алексей, министр юстиции, и рядовые люди были. Голодно было очень.

Нас привезли в Новосибирскую область, Куйбышевский район, село Горбуново. Это было богатое село, добротные дома. Если бы мы попали на производство, где карточная система, у нас были бы карточки, мы бы неплохо жили. Многие калмыки говорили потом: мы голода такого не видели. А мы из-за бабушки Кирбасовой остались в колхозе. Она просила: сын мой Петя на фронте,

¹¹ Калм. *бер* 'невестка'.

ты меня не бросай. Вот дядя и послушался свою тетушку. Дома он в обкоме работал, а тут что — простой рабочий, возил дрова, а у него ноги больные. Тогда боевые листовки выпускали, что мой дядя Ендонов Матвей Кузьмич выполняет 2–3 нормы в день, хвалили. А у него нога больная, дома он каждый год бесплатно в санаторий ездил, до сих пор фотокарточки есть — то в Евпаторию ездил, то в Южный Крым, а там... Нога у него потом воспалилась, через это ему ногу отняли, он приехал домой без ноги.

Тяжелое время было, ой-ой-ой. Нас привезли в добротное село, зажиточное, дома были непокошенные. Нас поселили в доме: она доярка, муж на фронте, а хозяйство крепкое было. Приняли нас, конечно, холодно. Всем же объявили, что врагов народа везут.

Вот в этом селе я пошла в седьмой класс. Одноэтажная сельская школа была. Я думала: как пойду? Ведь никого не знаю. А все же от нас прячутся, всем сказали: людоедов везут. А куда денешься, в школу надо идти. Дядя мой говорит: «Надо идти, ничего, не все люди такие». Думаю, пойду пораньше, потемну, чтоб никто меня не видел. Зашла сразу в класс, села и сижу. А дети не заходят в класс, стоят у порога один на одном, как пирамида. А я поняла, что они меня боятся — людоедка сидит. А я всегда на первую парту садилась, потому что близорукая была. И все назад садятся, подальше от меня, боятся. Но когда стали опрашивать, и я показывала хорошие результаты, отношение ко мне стало меняться. Многие учителя были из Ленинграда и области, эвакуированные, они же умные. И учительница русского языка все время говорила: «Лиза, крепись!». Морально меня поддерживала.

У меня в Элисте еще тетя работала продавцом и не одну-две тетрадки, а кипами приносила их мне. И обложки, и внутри все — лощеная бумага. Я взяла с собой пачку новых тетрадей. А у этих ребят ничего не было, на газетах писали, на чем угодно. И коробка перьев у меня была, она меня долго кормила. А они все пишут кто гусиным пером, кто чем — брызги летят.

И вот один мальчик все смотрел, как я пишу. Как-то я ему говорю: «А что у тебя пера нет?». Отвечает: «Нет. А у тебя какое перо хорошее!». «Я тебе дам», — говорю. Дала ему, а он мне на следующий день ку-

сок сала принес. Я не беру, а он мне толкает в парту сало. Так он мне несколько раз сало приносил и смотрел на мои тетради.

Я была плохо одета. У меня было пальто, форма детдомовская — тетя такую купила, шапка-ушанка, платка не было, ватные штаны. Дядя мне свои ватные штаны отдал. Конечно, азиатка, и такая страшная, и одежда такая плохая, неприглядная я была. Но все же меня не обижали. До конца года не доучилась, 7 класс не кончила, потому что уехали мы оттуда.

Стало очень тяжело жить. В колхозе палочная система, ставят палочки за трудовни, которые будут отовариваться только осенью, и в боевом листке хвалят. Дядя дрова возил, но стал потихоньку сдавать — пух с голоду. Сядет перед печкой, а я думаю: что с дядей? Где кушает, что ли? У него лицо лоснится, пальцы толстые. Я даже плохо стала о нем думать: почему он поправляется?

Один раз он уже не выдержал и пошел в районный центр — там был его друг по партийной работе Ц. Саврушов. У него была жена русская — тетя Лариса. Друг ему сказал: «Ты что, Матвей Кузьмич, ты умрешь так в колхозе, немедленно переезжай в совхоз, я помогу». Он дал ему письмо для знакомого прораба в совхоз неподалеку. Сказал ехать сразу, а дядя решил сначала меня забрать. Саврушов говорит: у тебя такая нога, куда ты пойдешь 25 километров, подожди, окрепнешь. А дядя пошел за мной. Двое суток его не было, у меня дурные мысли, плакать охота, думала: меня дядя бросил. Приходит дядя и рассказывает тете Марусе Кирбасовой, что переезжаем в совхоз жить, что там картонная система, надо переезжать.

Собрались мы с ним, идем через лес, сил нет. А дядя говорит: «Иди, быстрее, тут и волки могут выскочить». А я устала, уже сил нет. И он меня просит: потерпи, скоро будет село, там калмыки знакомые живут, там чай попьем, хоть что-нибудь.

Знакомые были — жители Яшкульского района, семьи офицеров, которые на фронте были. Заходим, у них в доме в большой комнате на полу толстым слоем солома, тряпки наброшены, и лежат люди. Я к одной женщине примкнула и слышу разговор. Оказывается, когда дядя в первый раз заходил к ним, так как он грамотный, он им помог —

написал письмо о том, что семьи офицеров умирают с голоду. Они обратились в партком, и после этого им привезли картошки и угля. Там был парень, он собрал в большом доме всех больных родственников, чтобы не бегать по этим домам. Потому что там один болеет, надо следить, тут второй умер, надо хоронить. Вот я возле какой-то больной женщины прилегла и чуть не уснула, а дядя меня будит: «*Бос, бос* (Вставай, вставай. — Э.-Б. Г.)! Картошку сварили!». Я быстро проснулась, поели, и они дядю благодарят, он говорит: конечно, надо обращаться. Много еще рассказывали, и он еще одно письмо написал.

Потом, когда мы уже вернулись, дядя вспоминал и сожалел, что имя того коренастого смуглого парня мы не спросили. Такого надо было хвалить, что он такой молодой сообразил — собрал всех родных в кучу и ухаживал, это же, можно сказать, герой того времени.

Мы снова пошли пешком, переночевали у Саврушовых. Тетя Лариса мне чашечку с блюдцем подарила, я так рада была.

В совхозе прорабом был немец, а все репрессированные хорошо друг к другу относились. Он устроил нас на работу, я-то малолетка, но он мне сделал рабочую карточку. Мы с дядей чистили коровники, убирали навоз вилами и складывали навоз в пирамиды, его потом сжигали и удобрение по полю раскидывали. Мы стали получать по двум карточкам по 600 граммов хлеба, то есть кило двести в день на двоих. Мы зажили, голод нам уже не страшен. По карточкам еще кое-что давали, муку... Мы уже окрепли. Дядя стал говорить, что я ему мешаю, не так складываю эти пирамиды, нарушаю придуманную им систему. Он стал мне говорить: «Иди, Лиза, домой, чай свари, а я сам уберу, поскладываю». Я бегу домой, а он день и ночь работал, две же нормы надо выполнять. Он окреп, припухлости прошли. Стали молоко покупать у соседей.

Весной посадили в совхозе картошку, нам казалось — много. И вот приезжает в этот совхоз Гога Эрдниев, это отец ведущей радио-телевидения Аллы Эрдниевой, и стали беседовать. А он говорит: я там был в Рыбинском районе, в Красноярском крае, там тоже хальмгуд живут. — Кто там живет? — Там живет Эвенова Мария Кузьминична. — Да ты что? Это же моя сестра.

Дядя быстро взял адрес тети моей, так мы нашли тетю.

И вдруг нам присылают деньги — 700 рублей, это большие деньги тогда были: «Сидорову Матвею Кузьмичу». На почте говорят: никогда не было Матвеев Кузьмичей у нас, только дядя мой, но он Ендонов. Это потом мы поняли, что неправильно записали. Вместо «е» написали «с», и дальше вместо «н» — «и», и получилось: Сидоров. Но какие люди! Все-таки нам эти деньги дали. Мы на эти деньги картошку посадили, весной картошку, уезжая, продали и поехали искать семью свою. Мы же деньги получили — посмотрели обратный адрес, нашли. Поехали на поезде.

Но дядя уже ходить не мог, и он меня отправил, иду, там дом двухэтажный. Поднимаюсь, и открывает дверь женщина, это моя родная сестра Клава, она тогда тифом болела, и ее постригли. Голомызая Клава меня узнала, а я ее — нет. Обнимаемся, я говорю: там же дядя внизу, но подняться не может, устал уже. — Да что ж ты молчишь.

У них барахла полно было, и они все вещи меняли на еду, тети дома нет, она ушла в деревню менять вещи. Она скоро придет. Дядя зашел, тетя приехала. Картошки наварила, рисовой каши наварила и говорит: после голода много кушать нельзя, с ложечки кормила мужа. И мне говорила: Лиза, много не ешь, а то плохо будет. В общем, мы зажили.

И вижу я: тетя с дядей все время шушукуются, на меня поглядывают. А они, оказывается, письмо получили, тетя им сказала: вам там трудно всех держать, дайте нам кого-нибудь из детей. Да так мне стало обидно, я только наелась, только стала жить в добре. Но тетя у нас очень хорошая, его жена. Но я так на них обиделась, дядя говорит: ну, ты пойми. Клава у нас была очень скромная, стеснительная, а я была побойчее: в школе активистка, я всегда первая танцевала, везде участвовала. И вот они решили: Лизу пошлем.

И меня отправили к тете в город Заозерный Красноярского края. Дядя говорит: ну, Лиза, смотри: сейчас посажу тебя на поезд, ты не усни, а то проедешь, уедешь далеко. Я говорю: нет, я спать не буду. И он сказал проводнице: эту девочку, если она уснет, на станции Заозерная посадить. А я — какой там спать, мешок свой пустой схвати-

ла и смотрю. Она говорит: девочка, ты спи, твой отец сказал, где тебе выходить. «Это не отец, это дядя», — сказала я. «Все равно вздремни». — «Не буду я спать».

Села я у порога и сижу, жду. Смотрю: какие-то женщины по-татарски говорят. А оренбургские калмыки все говорили по-татарски, потому что они там жили с оренбургскими ногайцами, а у них татарский язык. Тетя и дядя прекрасно говорили и пели по-татарски. И вот эти женщины говорят: мы идем на базар, ягоды везут. И я подумала: пойду с ними на базар и там буду искать калмыков или так спрошу, в какой части города мне искать этот барак № 21. Когда она сказала «Заозерная», татарки пошли на базар, и я пошла с ними.

Приходим рано-рано утром, базар еще не собирался. Смотрю, идет калмычка чернявая высокая, туфли несет — на продажу, видимо. По-калмыцки говорю: тетка, где 21-й барак? Она говорит: не знаю, я не знаю. — Как не знаете? Вы калмычка? — Да. Не знаю, где такое, — так грубо ответила.

Ищу калмыков — нету. Я так прохожу, думаю: базар закроется, стемнеет, и где я буду ночевать? Начала соображать, что мне негде будет спать. Иду, по улице идет русская бабушка. — Бабушка, вы не знаете, где 21-й барак? Она говорит: ой, деточка. А я свою старую песню, сразу на жалость давила: мамы у меня нету, умерла, папа на фронте. Мне надо тетю найти. Она говорит: ой, война, что она наделала! Такая махонькая девочка. Вот там в конце улицы есть барак, и в этом бараке живут «кувмыки», так она сказала. Может, там твоя тетя? Она говорит: подожди, я тебе молока принесу. Я его выпила, и так мне хорошо стало, и пошла я искать барак.

Пришла. Двор оброс травой, два больших крыльца, на них стоят люди. Смотрю: калмыки вроде на внешность. Я: Эвенова Мария здесь живет, моя тетя? — Нет, говорят, таких нет. — У нее двое детей — Луиза и Дольган. — Ааа, говорят, это Маша... Ее называли не Мария, а Маша. А форточка открыта, моя тетя услышала и выбежала. Как мама моя умерла, она меня не видела, начала плакать. Нашла я тетю.

Зашли мы домой. Она налила мне черный чай. И в это время та черная женщина проходит, которая на базаре мне ничего не сказала. Она идет мимо нашей комнаты.

Спрашиваю у тети: здесь она живет? Да, здесь, но ее комната дальше. — Она мне сказала, что не знает, где 21-й барак.

Она такая, говорит тетя, нелюдимая, никого к себе не подпускала. А я думаю: какая ты, смотри, живет тут и не сказала мне. Такой человек она была. В общем стала я жить в том бараке.

И вот в этом городе стала работать на слюдяной фабрике, спасала эта фабрика калмыков. Все калмыки с ближайших колхозов приходили работать на фабрику: продукты, карточная система, жилье давали. И все сюда ехали. А кто в колхозе остался, многие с голоду умерли. Когда я уезжала в этот город, дядя написал записку — он услышал, что комендантом работает какой-то Н-ев. Говорит: я его знаю, он в Калмыкии работал милиционером.

И он написал записку, что это моя племянница, присматривай, помоги ей. А когда я приехала, говорю ему: муку не получила, давали по 28 кг муки всем калмыкам, а я еще не успела получить. — Ой, говорит, какая шустрая! У нас многие еще не получили.

А мука так — будан кеһэд (варили мучной суп. — Э.-Б. Г.), с голоду спасала, он мне и не дал, сказал: потом получишь. Так и не дал. Потом давали калмыкам по сколько-то кг животины, кто-то барана покупал, и я тоже не получила. В общем, он мне не помогал, а еще хуже делал. У меня ноги заболели, и я на фабрике сидела на двух стульях, ноги опухли. Меня инструкторша (орс) пожалела и дала мне другую табуретку: клади свои ноги. Я сижу, одна нога тут, одна там. А он пришел и говорит: а это что за барыня на двух стульях сидит? — А у нее видите, какие ноги опухшие?

Про этого коменданта Н-ва отдельно надо написать статью: какие люди все-таки были. У нас был там комендант Родион, он, наоборот, старался помочь калмыкам. А этот такой — все старался во вред, страшный был, всегда с пистолетом ходил, всегда фонариком проверял, светил, есть ли кто лишний. Приходили же знакомые, родственники, прям выгонял их на мороз. Такой вот комендант был, в Городовиковском районе жил в последнее время. Не знаю, нет его, умер, говорят. Он воровал, забирал у калмыков, калмыки так говорили: ну, подожди, вернутся наши дети с фронта, мы тебе покажем. Когда его стали судить в

Красноярске, что много муки и живности присвоил, послали много калмыков отсюда как свидетелей. Они тоже приехали и говорят: мы, наоборот, его защитили. Н-ев стал говорить по-калмыцки: бичэ келтн (не говорите. — Э.-Б. Г.). Говорят, рыдал, просил, умолял, а эти старики, говорят, пошли у него на поводу и сказали: мы ничего не знаем. И ему ничего не было, его осудили на несколько месяцев, и все. Так никто и не отомстил, наоборот, ему помогли. Незлопаметные калмыки.

Сколько вреда этот Н-в принес лично моей семье. К тете приходил дядя мой родной, он жил в шести километрах, в селе работал учителем. Лежал в больнице с туберкулезом, и куда ему шесть км идти на ночь, тут оставался. А Н-ев придет, ночью фонариком посветит, найдет его, а дядя мой в Калмыкии был инспектор района, учитель. Они, конечно, знали друг друга. Он ему говорил: ты почему здесь ночуешь, какое право имеешь? — Это же моя свояченица, куда мне идти 6 километров? Выгонит и говорит: иди. У него был туберкулез, а он его выгнал на мороз. «Я тебя еще по статье на север отправлю», — калмыков он так пугал.

Вот однажды дядя сидел на станции неделю, больной весь, кашлял, ждал поезда на север, а поезд не пришел. Я ему все чай носила. А Н-ев говорил: сегодня поезд придет, завтра придет. Это его прихоть была. Так он над калмыками издевался. А калмыки вместо того, чтобы его наказать, защитили его, пощадили. Он приехал в Городовиковский район и хорошо жил, богато. У него большая семья была, дети-то не виноваты, конечно.

Когда война закончилась, я на фабрике работала. Освоила этот процесс, вот такие длинные ножи и стеклянная доска. Вот готовая продукция и неготовая. И этим ножом на стекле щепишь эту слюду до тонкости, до определённого размера. На ощупь щипали слюду. Надо было не норму выполнять, а задание из двух-трех норм, пока задание не выполнишь, из цеха не выйдешь. Война же шла, все, считалось, для победы делаем, а мы калмыки — враги народа, надо стараться стахановцами быть, давать продукцию, фабрика военизированная. Все считали, что к нам плохое налипло, мы сидели, щипали слюду. Ткнешь ножом в палец, навыка когда нет, то попадаешь не в слюду, а в

палец. Узкие длинные острые-острые ножи, ох, все пальцы наколотые. Первое время не получалось, потом приноровилась, по три нормы делала, уже и деньги стала хорошие зарабатывать. Уже не тетка меня кормила, а я теткинью семью кормила. Деньги получим, а тетка у меня такая была — слишком добрая, ну, как — неэкономная. Калмычки в основном такие неэкономные. Деньги получу, пойдем на базар и накупим орехов, семечек, жмых — богатые! Все она соседям раздаст, угостит, потом опять сидим, купим маленькое ведерко картошки за 250 рублей и сидим с ним. А она в садике работала, и ей заведующая разрешала кое-что брать, жалела, что у нее двое детей, многие были такие: очень жалели.

Потому что там были такие люди — бывшие кулаки, раскулаченные, их только освободили от комендатуры. Директор школы у меня был русский, он говорил: Семеновна, ты это не рассказывай, мы это все прошли. Так вас привезли в бараки, а нас привезли, в тайге высадили, кинули — мы под деревьями спали. Хорошо, родители долбили, устраивали шалаш, и вот так жили. И в комендатуру ходили, отмечались. Всегда мне говорил: ну, что пойдешь, Семеновна, в любимый дом? И я говорила: пойду. Характеристику требовали каждый раз.

Он мне говорил: сколько ты мне коньяку должна, я всю ночь сидел, тебе характеристику писал. Напишет плохую, тогда снимут с работы. Тогда я не понимала, а что мне стоило ему коньяк купить? Потом уже думала: вот дурная, может, он мне так намекал, а я ему ни разу не купила.

На слюдяной фабрике я полтора-два года работала, и вдруг инструктор идет к моему станку, я прям что-то почувствовала, что она идет ко мне. Она говорит: Лиза, выйди, к тебе папа приехал. Я нос уронила на стекло и сижу, не могу двигаться. Ничего, потом до меня дошло, выхожу, а в коридоре стоит моя тетя, плачет и говорит: «Тятя ирчквэ (приехал. — Э.-Б. Г.)». Мы по-русски его называли тятей. И я бегу, бегу.

Мы в землянках сначала жили, что там женщины строить умели, только мы выехали, день-два, и все рухнуло, придавило бы нас. Мы квартиру наняли, в этой квартире и жили у русской женщины. Она печку нам топила, сама нам помогала печку топить, но весь дым в дом шел, и была у нас такая хо-

лодина, как сказочный дворец — все было во льду. Так мы спали на нарах, пиши на стенах, рисуй. Так и жили, печку-буржуйку топили, жили.

Дверь открыла, а там сидит какой-то старик, не узнала я папу. Потом пригляделась: по-моему, мой тятя. А он уже сидит, сыночка своего держит на коленках. Потом я пригляделась, смотрю: это мой тятя. Обнялись мы с ним. — Как вы живете?! Я воюю, а вы в каких условиях у меня живете... А он в Широκлаге все это видел.

Когда пришел папа, конечно, легче стало, он встал на учет, его определили на работу, он стал работать и купил домик маленький, стали мы уже жить. Он у меня очень трудолюбивый был, весной он столько посадил картошки. Калмыкам давали землю, они отказывались, а мой папа брал там и там, где пять соток, сколько было можно — он столько брал. И вот мы везде посадили картошки, осенью стали собирать. Не успевала — я уже училась — прополоть, не успею выкопать картошку, что уже следующую надо. И столько мы ее насобирали! В последнее время собирали уже по двести мешков, в подпол уже не лезет. Уже на улице папа такие делал ямы: в земле картошку держали, сверху стог сена, откроешь, а там они свежие, как огурчики. Много у нас было картошки в последнее время. И корову купил — корову кормили картошкой, свиней купили — их тоже картошкой.

А голод — это самое тяжелое. Все можно вытерпеть, но голод — это самое страшное. В самом начале, когда мы жили и голодали в колхозе, хозяйка всегда кормила свиней картошкой. А поселили меня на такие широкие полаты, скамейки вдоль стены. И внизу стояли шайки, а в них картошка. И вот каждое утро варят крупную картошку пороссятам, и я однажды — как со школы пришла — села на нары и думаю: почему свиньи должны картошку кушать? А я всегда это себе говорила: папа мой воюет! Так вот: папа мой воюет, а я должна с голоду помирать? Сейчас я эту картошку съем. Наклонюсь уже взять, вдруг слышу: вроде кто-то по снегу скрипит. Ой, кто-то идет. Посмотрю, послушаю: вроде кто-то идет, и я боюсь. Потом посижу, думаю наклониться и взять, промучаюсь возле этой картошки и не возьму, но мучаюсь. Однажды дядя зашел и говорит: «Лиза, что там сидишь? Ку-

шать хочешь?». Да, говорю. «Ну, подожди, вечером пойдем, поедем». Он вечерами ходил к сибирячкам, чистил сараи, зарабатывали мы этим. Картошку нам варили, вечером пойдем куда-нибудь, покушаем. «А эту не надо, не бери. Смотри, Лиза, никогда ничего чужое без спроса не бери».

Вот на базаре я один раз чуть не украла. У меня украли. Дядя дал мне деньги, я купила топленое масло в бутылке. Пол-литровую бутылку в карман положила. И еще он мне сказал: купи немножко сливочного. А я еще не понимала. Купила сливочное масло в глиняной красной чашке, и, пока я брала, у меня утащили бутылку с маслом. Думаю, дядя мне последние деньги дал. Не пойду с базара, у меня украли, и я украду. Стою возле бутылок и думаю: как же украсть? Вышла с базара, смотрю: по дороге дядя идет, хромает. Кричит: «Лиза, Лиза!». А я иду и думаю: как же я ему скажу? Он отчаянно кричит: сейчас поезд уйдет, и мы останемся. — У меня масло украли. — Ну, что ж теперь делать... А ты что ходишь? — Да я тоже думала украсть. — Хоть как будет трудно, никогда не кради. Лучше проси, кто добрый — даст, кто не добрый — и не надо. Но никогда не кради. Вот тебя бы избили на базаре до полусмерти.

А такие случаи были. Я вот хорошо знаю Лилию Ц., нашу элистинскую. На базаре она что-то украла, и ее избили до полусмерти. Церен, мой одноклассник, на каникулы всегда ходил в Ульдючины. И вот пошел он в Ульдючины, а в это время выслали калмыков. Так он один скитался. Я хоть с дядей, а он один бедный скитался, искал своих... У него мать неродная была, но все равно выехал один. Таких случаев много было.

По сравнению с другими у меня был хороший дядя. Вот тот калмык, что с нами жил, своего племянника никогда не кормил, никогда не давал своему племяннику есть. Тот ходит голодный кругом, а он его выгонял, даже бил: *йов цааран* (иди отсюда! — Э.-Б. Г.), самим жрать нечего, и еще ты тут ходишь. Жена его, наоборот, от него прятала, этому мальчику хлеб давала, а он им не давал, не помню, как его звали. Он кузнецом назвался, а ковать не умел, просто назвался кузнецом. Ходил, попрошайничал, кто ему в деревне давал, если калмычок-оборвыш ходил. Дядька его близко не подпускал, гонял.

Мой дядя какой был: сам пухнет от голода, но со мной делится последним, а этот никогда ничего не дает. Я дяде за это добром не отплатила. Сейчас вот его дочки в Петербурге живут, и я с ними только созваниваюсь, сама думаю: бессовестная, я дяде ничем не отплатила. Единственное, что, когда он умер, я первая увидела, подбежала, и я его хоронила. Тетку, жену его, тоже хоронила. А так ничем хорошим ему не отплатила, а ведь в какое время он меня держал! Ой-ой, как собственную дочку смотрел меня.

Стыдно было калмычкой быть. Когда я вышла на улицу в первый раз, мальчик один увидел меня и стал ужасаться: «О, голова, о, какая голова!». У нас же головы большие. Еще мне сестра купила мохеровую косыночку, она голову увеличивает, так он аж вздыхал: «Ой, голова!».

Как только ни дразнили, глаза показывали узкие. Потом калмыки, наверное, научили: ххххххх. Это матерное слово. Я и сама не знала, что это такое, потом узнала. Боже мой, это ж калмыки научили, откуда бы русские знали.

Потом я училась в педучилище в Канске, с 1946 по 1950 гг. Папа все говорил: учиться надо. Вот я и поехала учиться в другой город, за 100 с чем-то километров. Крупный город. Девчата, мои одноклассницы, пошли и я с ними. Сдала экзамены хорошо. На учителя учиться стала тогда я. Конечно, уже старалась. Папа говорил: «Лиза, ты знаешь, что ты — калмычка, ты не такая, как другие, тебе надо отлично учиться — так, чтобы ты была лучше их. Вот с детства улица на улицу дрались в Оренбурге, я их всех побарывал. Некоторые выучились, теперь на меня командуют, а я остался неученый, а ты должна учиться». А я уже поступила и старалась, чтобы на меня никто слова плохого не говорил.

Характер у меня папин, настырная была, упорная, настойчивая. Я всегда сдачи давала, дралась с девчонками, когда еще на фабрике работала. Там подарочки, как одна мне сказала, давали, американские подарки. На фабрику их всех вызывают по фамилиям, оттуда приходят девчата — кофточка новые на них, кто в юбочке, кто еще что. А калмыков не вызывают. А напротив меня сидела русская девочка, маленькая такая, меньше и помладше меня, и говорит: «А

вам... американцы сказали: калмыкам не давать, потому что вы за немцев были». А я тарочку взяла... Тарочка — это ящик, туда слюда складывают, сор уже, отбросы, и я эту тарочку вытащила и как дала ей по голове. Слюда прям на нее, а она такая едучая была, очень вредная. И хлеб наш тут был. Почему многие болели туберкулезом, потому что слюда разъедает. Уже это профессиональная болезнь была. Калмыки вообще склонны были к туберкулезу. Как только калмык заболевает, температура, то все — туберкулез, и так многих людей погубили. Лечение другое, а у него и не туберкулез. И страшно было, и неудивительно: и хлеб там лежит, и все, бумаги нет, пакетов нет, прям так и лежит, со слюдой ели хлеб. И нам этих подарков не давали, потому что «вы — изменники родины».

В другой раз — в педучилище уже училась — тоже одна девчонка на 2-м курсе начала говорить: калмыки — предатели. Я ей как дала хорошенько. Мне девчата-орсмуд (русские. — Э.-Б. Г.) оттащили, говорят: не надо, не трогай. А она пожаловалась директору, вызывает директор обеих. А у нас дисциплина была хорошая. Я сказала: она меня обзывает. — А как обзывает? Говорю: так и так, предатели — все калмыки и прочее. Тогда директор, она сама татарка была, так ее отругала, что я аж испугалась. Надо было ей больше дать, говорит, чтобы она в следующий раз не обзывалась.

Сейчас у меня внучка такая: если что, не терпит, я сама такая горячая была, отпор давала всем.

В комсомол я вступила. Вообще я тщеславный человек, мне надо, чтобы я была лучше всех, чтобы меня хвалили. Вот меня это испортило, я в школе хорошо училась, меня хвалили, дома пою, танцую, они мне деньги дают, мне это нравится. Я все время выделяться любила, очень тщеславная... А все вступают в комсомол. И я думаю: а как же? все идут, почему я не должна? И я пойду. Мне рекомендацию дали. В декабре нас вызвали в горком комсомола. Люди быстро пройдут, раз — и уже выходят, а меня так долго держали. Потом меня спрашивают другие ребята: а что ты так долго? А меня же там допрос со всех сторон держали. Есть кто за границей или нет? А я возьми да скажи: есть у меня дядя Кирбасов, был за границей, в Берлине же он был, военный. В об-

щем долго созванивались, узнавали. Этот говорит: а вдруг опять будет какая-нибудь заваруха, и вы опять калмыки руки в рукава? В общем оскорбил меня. Это значит, что спрячетесь. Так мне это не понравилось. Я ему говорю: зачем так говорите, у всякого народа были такие, что руки в рукава. Долго меня спрашивали. В общем приняли.

Полночи — уже темно, я пришла в общежитие, а у нас была печка-голландка, мы на ней валенки сушили. Я чьи-то сняла, свои туда запихала, мои валенки наверху. И легла спать. Ночью меня кто-то будит. А я не могу встать — голова тяжелая, как кирпич. Все-таки меня разбудили. Горячая сажа упала на мои валенки, они сгорели, а остальные валенки — где носочек, где немножко, а мои — полностью. И этот угарный газ от сгоревшей шерсти по всей комнате тяжелый, а нас в комнате было 9 человек, и мы все угорели. Если бы девочке не захотелось в туалет, мы бы все легли. Она ночью пошла в туалет и не смогла пройти, упала, стала кричать и всех разбудила. И вот мы все лежим, встать не можем, кричим соседям. Соседские девочки прибежали, открыли нам балкон, мы туда все выскочили. На другой день у всех рвота, для занятий мы негодные.

А я думаю; что делать? Валенки сгорели, 40 градусов мороза, голод, жрать нечего. Думаю: не буду я учиться, хватит. На фабрике я зарабатывала деньги такие хорошие, кормила всю родню и в почете была. Думаю: лучше я буду работать. Тогда телефонов не было, пошла звонить с почты, а папа сказал: никаких, я тебе пришлю валенки, ты будешь учиться. А я до того отца слушалась, его слово — закон.

Он мне прислал свои валенки, большие. Они были серые в белую крапинку, размер-то большой, а он их подшил автомобильной камерой через край, безобразно. Надела те валенки и пошла на физкультуру. Во-первых, они у меня как лыжи, во-вторых, скользко на резине, я наступаю и падаю. Все хохочут. Я сорвала урок. Преподаватель говорит: Басанова, встань в край и на уроках не будешь стоять. Я ушла из строя. Короче, я все равно училась. Потом морозы прошли, прислал папа мне кирзовые сапоги, он до того их намазал жиром, чтобы влага не проходила, что они блестели, как хромовые. Такие аккуратные. Три-четыре слоя

стельки. Кое-как я промучилась этот год. В общем не бросила учиться, папа не разрешил. Впроголодь учеба: с утра купим хлеб по карточкам, в обед — пустой суп, а вечером уроки учить надо, а в желудке ничего нет. Всегда было: сядем с гитарой, девочки играют, и песни поем. Голодные песни свои поем, у кого что есть, поделимся, поедим. А в основном ни у кого ничего нет. Я такой человек, который любит кушать, я хочу есть больше всех, поем песни, а песни же не кормят. И я всегда говорю: не дай боже, голод — самое страшное, он толкает человека в самые низменные чувства, я воровать хотела, сама себя стеснялась, потом себя ругала, как я могла такое допустить.

Все мои подружки были орсмуд. Близкая подружка была секретарем комсомольской организации Надя Рябова, как-то я с ней делилась. Каждый месяц калмыков вызывали в комендатуру, она находилась не в центре, а в конце города. По шпалам надо было идти. Девчата сказали: не будешь одна ходить, пусть ребята тебя водят по очереди. И вот месяц меня водил один, потом другой. А там калмыки стали говорить: ой, она каждый месяц с другим парнем приходит. А комендант сказал: если она придет, в очереди чтобы не стояла, она учится, ей надо уроки учить. Это русский комендант всегда говорил: ты не стой в очереди. И как только мне идти, я говорила ребятам: ну, чья очередь идти со мной в любимый дом? Идем мы по шпалам, я что-то рассказывала, все не расскажешь. Они возмущались: я отличница, комсомолка, что за закон такой — ходить отмечаться? Они тоже призадумывались. Но у многих были деды-бабы раскулаченные, они кое-что знали, но все равно были уже современные.

Каждый месяц идешь в комендатуру, как на праздник, там же очередь — все калмыки, наряжаешься. Идешь как на праздник, хоть на душе тяжело, а все-таки с земляками, не в своем окружении. Длинная очередь, надо выстоять. Надо и расписаться, и лицо свое показать, что на месте.

Папа в Сибири работал на двух-трех работах, я учиться пошла, а он в милиции стал дворником и конюхом работать. Отец мой с начальником как-то не поладил. Сказал ему: «Я воевал, а ты тут на табуретке всю войну просидел». И вот начальник послал летом его траву косить для лошадей. А сам отпра-

вил другого милиционера, который говорит отцу, что без разрешения комендатуры косить нельзя. Его арестовали, а попробуй докажи, что не сошлись характерами с начальником. Я еще папе говорила: зачем ты так? А сама ведь такая же — не поддамся, отвечу.

Когда Сталин умер, как я ревела! Казалось, что мир в мрак ушел. Казалось, как же мы будем жить? Я так ревела, плакала, еще песня у калмыков была «махнь ноха идшго» (и собака, мол, мясо (его) не будет есть — так переводится). Было время, все поняли, что он нас выслал. А в Сибири как тяжело было, а умер он — я плакала. И люди все — ой-ой-ой!

Когда у Сталина юбилей был, писали ему приветственное письмо, калмыкам не давали расписываться, расписывались орсмуд, нам не давали, а нам обидно было. Я как-то рассказывала, а Рая говорит: ой, Лиза, ты это помнишь? Конечно, помню. Как обидно было. Сталину приветствие не дали подписать. Я, говорит, тоже очень огорчалась.

Мы все время жили мечтой, что когда-то поедем домой. И вот стали все шушукаться. Приезжает Д. Кугультинов со своей молодой женой Аллой, говорит: будут возвращать. Все, говорит, забирайте, ничего не оставляйте.

Некоторые калмыки душой давно собирались и сразу стали собирать вещи, а некоторые сказали: не поедем, и долго не уезжали. Некоторые рано сорвались, одна партия уехала раньше нас. Мы тоже стали собираться. Домой едешь — настроение другое. До Волгограда ехали — природа красивая, ребята большие и старшеклассники радуются. А от Волгограда началась наша территория, жара и сухая трава. Старшеклассники стали возмущаться: ой, куда нас везете? Не понравилась природа, а куда деваться? Помню, старики наши падают на землю, целуют, обнимают — домой вернулись, домой! А нам удивительно.

Приехали мы вначале в Западный район. Встретили нас неприязненно. Нам открыто говорили: «Зачем нам вы нужны? Таких специалистов нам не надо. Нам нужны животноводы, чабаны. А учителя — нет». Вот мы ходили из деревни в деревню, нет работы — и все. Многие уезжали в Элисту.

Про Сибирь мы только с сестрой вспоминаем, я через себя пропускаю. Я лежала в больнице в кардиологии, и у меня случился инфаркт. Тогда дочка просила: мама, ты полежи, а я душ приму и вернусь. А мы про Сибирь вспоминали, каждый рассказывал в палате, и я тоже, и вот инфаркт. Дочка просила: «Мама не вспоминай». А я, как моя сестра — слезы градом, — не могу. У меня нет ни слезинки, я только вздыхала, когда она умерла, слез нет. Сядем с внучкой, обнимемся и сидим.

Сестра моя плачет, даже по телефону, если вспоминает сына убитого, его из-за машины застрелили. А у меня болезнь такая: слез нет.

Калмыцкие праздники мы в Сибири отмечали основные — Зул, Цаган Сар, а еще свадьбы гуляли. Я была на нескольких свадьбах. Капуста, картошка в нескольких видах — толченая, вареная, жареная. Картошка на столе — весело и хорошо. Свадьбы были хорошие, не как сейчас. У нас была кадка большая с капустой, замерзнет, топором рубишь ее. Папа, когда с фронта пришел, был работающий, огород посадил, парники, огурцы-помидоры собирали, было что. Продавали мы. Уже стали нормально жить, а домой все равно хотелось. А я же уже замужем была.

Я уже замуж тогда вышла. Иван выделялся среди калмыков. Это не его заслуга была, а его сестры. Она за братьями ухаживала, сама так замуж и не вышла, осталась старой девой. Если все в фуфайках, нестриженные, небритые, то он всегда чистенький, вид такой интеллигентный. Он этим взял, что очень аккуратный был. Он всегда пройдет и ничего не испачкает ботинками. Сестра его или я пройдем по той же дороге и испачкаем, а он пройдет — как будто и не по земле ходил, чистюля был.

Мы долго встречались, три года с ним дружила — не хотела замуж выходить, и папа был против. Хотела я учиться, была жадная до знаний — за это себя хвалю.

Там я поступала в пединститут: раз собралась, а комендатура не пустила. Оказывается, надо было брать сопровождающего за свой счет — платить ему проездные, суточные. Милиционер должен был рядом ехать. Дали мне парня русского, он возле меня ходит как привязанный. Я уже дружила с будущим мужем, и он мне говорит:

«Отдай ему паспорт, что он ходит за нами как тень». А я солдату говорю, что мой папа тут живет, куда я от папы уеду. В вагоне за мной везде и на экзамены ходил. Все хорошо сдаю, а в списках меня нет, на заочном отделении тоже. Опять готовлюсь, опять нет в списке. Два года я поступала, а на третий мне помогли отказаться. Прихожу, а там написано: «Абитуриенту Басановой зайти в заочный отдел». И вот там мне говорит один: «Который год Вы ездите, тратитесь. Давайте так сделаем: у меня в Красноярске фронтовой друг — директор сельхозинститута, он вас с этими оценками возьмет сразу». Подсказал, что есть такое негласное распоряжение, чтобы спецпоселенцев и репрессированных не брали. Сказал, что никто не возьмет на идеологическую специальность, зря пытаюсь.

А я говорю: нет, хочу быть учительницей. Мне казалось, это выше, чем сельскохозяйственный работник. Приезжаю, папе говорю, а он ругает: дурная, была бы ты агрономом. А я Ивану сказала: если не поступлю, тогда, ладно, замуж выйду. Не поступила и замуж вышла, а там дети пошли, какая уже учеба?!

Познакомились мы с Иваном в Сибири. У него семья была очень большая — четыре брата и сестра. Папа мой поэтому не хотел, говорил: куда ты пойдешь? семья большая, он один работает. Папа его критиковал, он же в кино водил меня через день. Говорил ему: «Ваня, у тебя столько братьев, сколько денег у тебя уходит на кино!». Не нравилось, что он несерьезный, развлекаться любит, деньги тратить. А мой муж психовал: «Какое дело твоему отцу? Спрашивает у меня: откуда ты деньги берешь».

Со мной эстонские девочки учились, финки, калмыков было мало. Ходили мы с ними вместе полоть нашу картошку. Он все время говорил: «Какой у тебя отец жадный, сколько ему надо картошки!». Потому что на каникулах надо было тут и там прополоть, с ним гулять некогда.

Сестре папа сам мужа выбирал, работягу. А мой работал на стройке бригадиром. К работе хорошо относился, поэтому выдвигали его. Больших грамот не было, а в Элисте потом стал начальником планового отдела асфальтного завода при министерстве коммунального хозяйства.

В мае у нас была свадьба, кольца-мольца надевали. Платье у меня было — учительница математики мне сшила, немка. У немцев, репрессированных, к калмыкам хорошее отношение было. Она мне сказала: не покупай платье, я тебе сошью. Тогда был в моде крепдешин, а у меня была ткань красивая — тонкий-тонкий маркизет, аж светится. Сшила платье, крепдешинное на вид. Тогда еще все говорили, что Лиза замуж без крепдешинного платья выходила. Туфли я купила себе красивые, одета была хорошо.

Свадьбу дома гуляли. У нас комнатка маленькая, сватов много пришло. С моей стороны не так уж много было, учителя, правда, еще пришли. Учителя не хотели, чтобы я замуж выходила, им Ваня не нравился. Говорили: «Семеновна, ты такая! Будут еще!». А я сказала: хватит, мне отец тут каждый день в ухо дует, не нравился ему жених.

У нас с мужем одинаковая фамилия — Басановы. И мы зарегистрировалась не сразу же после свадьбы, а когда я уже первого сына родила. Пришла регистрироваться и узнала там *орс кююкн* (русскую девушку. — Э.-Б. Г.), которая со мной училась в седьмом классе. Двоечница была по русскому языку. Она сделала вид, что меня не узнала, тогда и я тоже. Там надо было написать в графе «Фамилия после замужества», и я написала «Басанова». Она так распахивалась: «Вы, что, читать не можете? Тут по-русски все написано». А я ей говорю, что русский знаю получше вас. — Как фамилия до замужества? — Басанова. — А как после? — Басанова.

А я ей не объясняю, что у нас одна фамилия, она и не поймет. Неужели, думаю, не помнит меня. Иван мне по-калмыцки говорит: «Келчк (скажи. — Э.-Б. Г.), что ты не можешь объяснить?». А я упорно с ней ругаюсь. Она тогда говорит: у меня больше нет бланков, теперь за ними надо в Красноярск ехать, надо месяц ждать. Ну, говорю, подождем. И вот так с руганью с этой девочкой зарегистрировались. Никто нас не поздравил, пришли домой. Самой надо было подумать цветы купить, пол-литра, но не подумала заранее.

Я была пионеркой, но в Сибирь приехала без галстука, уже старшая была. Всю жизнь хотела быть лучше всех. Вот в Сиби-

ри мы, калмыки, должны были быть лучше всех, не отставать. Да я вам лишь тысячную долю пережитого рассказала.

Нарративы как места памяти о депортации калмыков

В год 75-летия Победы вновь стали актуальными дискуссии об участии калмыков в Великой Отечественной войне и проявленном в ней героизме. В представленных текстах мы видим готовность защищать родину с первых минут у вчерашнего школьника Л. Т. Дорджиева, его фронтовой путь и плеяду калмыцких офицеров, с которыми встретился лейтенант Лиджи Дорджиев, когда калмыки были отозваны с фронта. Сержантский и рядовой состав был отправлен в Широлаг, а офицеры-калмыки ждали решения своей судьбы. В этой связи особенно важно его свидетельство о том, как такая группа офицеров в Павловских лагерях под Оренбургом жаждала вернуться на фронт. Удивительным образом работала советская бюрократия в годы войны — письмо на имя Н. А. Булганина сработало вопреки государственным указам, и многим было разрешено вернуться в действующую армию, где могла убить вражеская пуля, но никто не унижал на основании принадлежности к этнической группе, где человек отвечал за свои ошибки, а не за чужие преступления.

Присутствуют фронтовики и партизаны в нарративе Е. С. Басановой. Особенно ценными предстают подробности о том, какими были в школе Ю. Клыков и В. Косиев, юные партизаны, героически погибшие во время 5-месячной оккупации Элисты в 1942 г. Улицы, названные в честь Ю. Клыкова и В. Косиева, хорошо известны элистинцам, теперь к образам героев добавляются малоизвестные детали о том, какими они были в своей недолгой героической жизни. Кстати, в ее нарративе упоминается ул. Серова в Элисте. Сегодня приходится изредка слышать, что эта улица названа в честь руководителя операцией «Улусы» генерала И. Серова. Однако это не так — улица была так названа до войны в честь героя-летчика Анатолия Серова.

Отец девочки Лизы Семен Басанов как вдовец, один воспитывающий трех несовершеннолетних детей, получал отсрочки в военкомате и стыдился своей брони: *неудобствовал*. В это время в республике форми-

ровалась Калмыцкая 110-я кавалерийская дивизия, и в ожидании повестки отец купил красивое седло, ведь калмыки всегда воевали верхом. Однако судьба определила ему идти в артиллеристы.

Ощущение единства со всем народом, знание того, что «мой папа на фронте», давало девочке силы в трудные минуты (она повторяет эту формулу правоты как мантру) и в то же время вносило смятение в ясность картины мира: *мой папа на фронте, а почему я здесь голодаю, и даже свиней кормят лучше?* Всю войну прошел Лизин родственник, ее дядя — Виталий Кирбасов, танкист, дошедший до Берлина. И на вопрос при вступлении в комсомол, есть ли родственники за границей, — вопрос, который предполагает другие (несоветские) биографические траектории родных — бесхитростная девочка отвечает: *у меня дядя Кирбасов в Берлине, где он служил в советской комендатуре Берлина*.

Важное качество, отличающее женский рассказ о травматическом, — телесность. Повествование Е. С. Басановой насыщено разными проявлениями телесного — и физической внешности, важной в репрессированном контексте, в котором калмыки были расиализованными. Иными, и частыми упоминаниями одежды и еды — знаками, в которых проявлялся статус спецпереселенцев. Например, одежда или не по размеру, или не соответствует возрасту и полу: пальто, форма детдомовская ... *шапка-ушанка, платка не было, ватные штаны. Дядя мне свои ватные штаны отдал. ... Он мне прислал свои валенки, большие. Они были серые в белую крапинку, размер-то большой, а он взял, их подшил камерой через край, безобразно. Я одела те валенки и пошла на физкультуру, во-первых, они у меня как лыжи, во-вторых, скользко на резине, я наступаю и падаю*.

Конечно, одежда — всегда и социальный маркер, поэтому одежда хуже, чем у всех, означала и статус ниже, чем у всех. Голод и еда — также обязательные для сибирского нарратива темы в женском повествовании, и, читая рассказ Е. С. Басановой, мы получаем подтверждение ее опыта, что *голод — это страшно*.

У Л. Т. Дорджиева — особый стиль. Мы видим простого открытого общительного человека, который встречается с трудностями

ми на своем пути и лицом к лицу и иногда со швейковской улыбкой решает их. Родственные и дружеские узы для него много значат: сколько людей с именами и без имен мы встречаем в его рассказе. И подавляющее большинство — хорошие, равнодушные люди. Это и врач военного училища, и хозяйка дома, в которой квартировал лейтенант Дорджиев, собиравшая продукты для его родителей. Когда в наши дни говорят о советском человеке, часто создают схематичный образ конформиста, винтика большой машины, который зажат и испуган, а в жизни это было далеко не так. Л. Т. Дорджиев вспоминал людей, что встречались в его жизни, и они были инициативными, активными, они не ждали просьб о помощи, а сами спешили делать добрые дела. Здесь также важно увидеть добро, не воспринимая его как само собой разумеющееся, и помнить это добро и спустя полвека.

Мужские стратегии сопротивления репрессивному режиму показывают правовую грамотность и умение говорить по-большевистски [Kotkin 1995: 220] как приемы самозащиты, а также готовность защищать свое достоинство физически. Мы это видим в рассказе Л. Т. Дорджиева. Могла использовать физическую силу и Лиза, если надо было защитить самое важное для нее — честь народа.

В обоих нарративах присутствуют люди разной этнической принадлежности: репрессированные немцы, преподающие в школе немецкий язык, финки и эстонки, с которыми училась вместе Лиза, балкарцы, с которыми *понимали, что в одном положении находимся*, казахи и киргизы, которые не замечали, что калмыки — ссыльные. Российский немец помог с устройством на работу девочке, несмотря на ее юный возраст, чтобы Лиза могла получать взрослый паек; немка сшила свадебное платье; директор-татарка заступилась за студентку. Респонденты легко называют национальность нерусских знакомых, потому что в те годы этническая принадлежность часто определяла статус, нередко официально репрессированный.

Чаще других встречаются русские, которые были первыми среди равных, доминировали количественно, при этом их этническая принадлежность не имела отношения к репрессированным статусам, поэтому уточнять ее респонденты стесняются. Если

принадлежность к русскому народу надо подчеркнуть, как непредвзятое мнение, как мнение большинства, она говорит это по-калмыцки: *орсмуд*. Например, весь день 28 декабря 1943 г. простояли одноклассницы Лизы у кинотеатра «Родина». *Подруги наши, орсмуд, подскочили к дверям, удивляются и кричат: что вы делаете? Они же наши отличницы — за нас заступаются. Удивлялись: как это так, какие же они враги? Они же комсомолки! Военные их отгоняли, а они долго стояли и не уходили, все хотели попрощаться.*

Или в рассказе о том, как комендант Канска заботился о Лизе, предлагая ей не стоять в очереди, чтобы расписаться: *она учится, ей надо уроки учить.*

Как отмечает Л. Т. Дорджиев в сюжете с дракой: *все остальные русские — ни один меня не тронул. Настолько они справедливость показали...* Это о таких людях писал Д. Н. Кугультинов как о «лучших русских». И в этом выделении «лучших» есть и другой смысл, что были и другие — не лучшие.

Дискурсивные стратегии нарратива

История жизни, в том числе о жизни в Сибири, хранится в памяти человека не фиксированным текстом, а каждый раз меняется при повествовании в зависимости от исторической политики государства, от социального контекста, в котором рассказ воспроизводится. При этом каждый рассказчик привносит в историю сибирской эпопеи сюжеты своей индивидуальной и семейной истории, которые для нас ценнее с каждым годом.

Е. С. Басанова свою биографию начинает не со своего рождения, а с переселения группы оренбургских калмыков в Калмыкию. Переезд оренбургских калмыков в недавно образованную автономную республику — первый важный сюжет повествования.

Первый съезд Советов Калмыкии, состоявшийся в п. Чилгир, 100-летие которого отмечается в этом году, принял решение о переезде всей группы оренбургских калмыков в пределы Калмыкии. Героиня, которая относит себя к оренбургским калмыкам, родилась позже. Но ее идентичность регулярно возвращается к «оренбургским корням», из-за которых она иногда чувствует дистанцию с другими калмыками, ведь культурные нормы этой группы существенно отличались от габитуса

волжских калмыков. Как описывает свой родственный круг рассказчица, они были калмыки, но иные: обрусевшие, родители были крещенные, у всех русские имена, родители говорили по-татарски, по-башкирски и по-казахски. Недавние исследования уральских историков показали: несмотря на то, что оренбургские калмыки были крещены, многие делали это формально, втайне оставаясь буддистами, и после указа «О веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. они стали бороться за право легально практиковать буддизм [Джунджузов 2017: 171]. Несмотря на наличие этно-территориальных групп среди калмыцкого народа, мы видим, что культурной нормы как таковой нет, имеет значение, в первую очередь, этническая идентификация с группой.

Важный акцент, который конструируется в памяти Е. С. Басановой: *все поехали товарняком*. Товарный вагон как транспорт для массовых переселений стал «мемом» для сталинских репрессий в XX в. Из Прибалтики и Закавказья, из Манчжурии и Крыма в конце 1930-х и в 1940-е гг. шли составы, которые везли «народы в эшелонах» в основном в Сибирь. Неотапливаемый товарный вагон, в котором перевозят товар, в лучшем случае — скот, становится в бесчеловечных обстоятельствах транспортом для перевозки людей.

В 1929 г. оренбургские калмыки были такими же гражданами СССР, как и другие народы, но их транспортировка должна была обходиться как можно дешевле для государства. Отсутствие санитарных условий и скученность способствовали распространению тифа, который было нечем лечить. Опасность вероломного нападения врага в виде инфекционного заболевания наложилась на память о военных бедах и вагонах в Сибирь фразой: *по дороге тиф напал на состав, они вагонами умирали. Рассказывали, что бегаем, плачем. Прибыли сюда... с большой редкостью*.

Наследованная память о том переезде наложилась на травматическую память о поезде в Сибирь, и уже все поезда с калмыками представляются такими, что *вагонами умирали*.

Как формулирует Джеймс Верч, это нарративный шаблон (narrative template) [Wertsch 2002: 194], то есть схема, автоматически используемая членами мнемониче-

ского сообщества для осмысления похожего события. В данном случае мы имеем дело с шаблоном, укорененным в культурной памяти народа: «калмыков везли в эшелонах, и многие погибли».

Большие человеческие потери по дороге в места прибытия были в размере 1 640 чел. (1,6 % от всего депортируемого состава), госпитализировано 1 010 чел. во всех 46 эшелонах, согласно данным Докладной заместителя наркома внутренних дел СССР В. В. Чернышова наркому ВД СССР Л. П. Берия о завершении операции по переселению калмыков в восточные районы страны от 27 января 1944 г. [[Ссылка калмыков 1993: 123](#)].

Хочется подчеркнуть некоторые моменты, которые говорят о том, как сильна в те годы была среди калмыков буддийская этика, согласно которой люди предпочитали не помнить зла, прощать плохие поступки. Люди, поехавшие свидетелями обвинения против коменданта-калмыка Н-ва, который портил жизнь и унижал многих калмыков в Канске, стали свидетелями защиты, как только он по-калмыцки попросил их не говорить про него. Отражение основ буддийской этики в поведении калмыков проявляется и в рассказе Л. Т. Дорджиева в сюжетах, как он не настаивает на наказании обидчика или как его отец раздает всю полученную от сына передачу сокамерникам, ничего не оставив себе. Какие это узнаваемые в жизни сюжеты!

Однако, вернувшись в родные степи, калмыки долго не рассказывали о пережитом своим детям, и второе поколение не получило напрямую от своих родителей, — которые сами росли в условиях, когда за благо было промолчать, — полноценные семейные воспоминания о годах, прожитых в Сибири. Внуки депортированных росли в годы перестройки, когда тема сталинских репрессий была одной из самых востребованных в прессе, при этом главные акценты перестроечными журналистами ставились на утратах и страданиях народа. Одним из самых тяжелых периодов 13-летней Сибирской эпопеи была история о выселении и о дороге в Сибирь, ярче других сюжетов оставшаяся в памяти людей и многократно воспроизведенная на страницах республиканской прессы.

Современная социальная память о депортации часто переключается в режим постпамяти, под которой Марианна Хирш понимает то, как представители следующего поколения представляют травматические события, основываясь не на личном воспоминании, не на коммуникативной памяти [Hirsch 2012: 5].

Одним из распространенных сюжетов в повествовании о депортации является сюжет о людоедах. И, как мне кажется, этот сюжет не только о том: как все представители этнической группы были дегуманизированы, ведь они уже выбыли из дружной семьи советских народов («калмыки» просто исчезли из словарей, карт и энциклопедий), и некоторое время кто-то в принимающем сообществе верил в это. Метафора людоедства — настолько красноречивая иллюстрация статуса высланных калмыков, упоминание которой становится достаточным для описания социальной ситуации, в которой оказались прибывшие. Примечательно, что Л. Т. Дорджиев, который был демобилизован в 1947 г., «людоедов» не упоминал.

Примечательно, что рассказчица многие периоды своей жизни измеряет временем занятий, количеством школьных уроков, и не потому, что это рассказ школьного педагога, но и показатель вовлеченности ее и ее семьи в ценности советской школы, идеологию общества.

Я хорошо училась, и дядя сказал: Лизу возьму с собой, чтобы она уроки не пропустила. Мы приехали в Сибирь, считай, много пропустили уроков, но быстро наверстали.

Эта увлеченность учебой была оправдана. Единые школьные учебные программы по всей стране формировали не только граждан страны, но и единое образовательное пространство. Поэтому спустя годы был сделан вывод:

... наши знания нас поддерживали морально. Они [сибиряки] все удивлялись — лицом-то мы азиаты, а говорили хорошо по-русски и учились все хорошо.

Стратегия сверх-усилий по интеграции в жизнь большого общества, которой придерживались и Л. Т. Дорджиев, и Е. С. Басанова, была сформулирована ею так: *в Сибири мы, калмыки, должны были быть лучше всех, не отставать*. Именно так герои Зазеркалья учили девочку Алису: приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! [Кэрролл 1978: 138]. В мире перевернутых ценностей позднего сталинизма к этой максиме пришли и калмыки: *чтобы не отставать, мы должны быть лучше всех*.

Оба представленных нарратива являются позитивными в терминах Джеффри Александера [Александр 2013: 164], т. е. оба рассказа не педалируют виктимность и страдания своей семьи и всей этнической группы, а вписывают свои биографии и судьбу народа в исторический процесс, который в XX в. был полон трагедиями. Для обоих собеседников история депортации осталась в XX в.

Литература

- Александр 2013 — Александр Д. Смыслы социальной жизни: культур-социология / пер. с англ. Г. Ольховикова. М.: Практикс, 2013. 639 с.
- Гучинова 2005 — Гучинова Э.-Б. М. У каждого своя Сибирь // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 400–442.
- Гучинова 2008 — Гучинова Э.-Б. М. У каждого своя «Сибирь». Ссылные калмыки в Средней Азии // Диаспоры. 2008. № 1. С. 194–220.
- Гучинова 2019 — Гучинова Э.-Б. М. У каждого своя Сибирь. Две истории о депортации калмыков (интервью с С. М. Ивановым и С. Э. Нарановой) // Oriental Studies. 2019. № 43(3). С. 397–422. DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-3-397-422
- Джунджужов 2017 — Джунджужов С. В. Организационная деятельность Павла Ивановича Жемчужева по консолидации и переселению оренбургских калмыков в Калмыцкую автономную область // Великая российская революция в судьбах народов Юга России: материалы Всерос. науч. конф. (с междунар. участием), посвящ. 100-летию революции 1917 г. (г. Элиста, 13–14 сентября 2017 г.). Элиста: КалмНЦ РАН, 2017. С. 169–178.
- Очиров 2009 — Очиров У. Б. Калмыкия в 1919 – начале 1920 гг. // История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 т. Т. 2.

- Элиста: Герел, 2009. С. 237–294.
- Кэрролл 1978 — *Кэрролл Льюис*. Приключения Алисы в Стране чудес; Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / пер. с англ. Н. М. Демуровой; стихи в пер. С. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой; худож. Дж. Тенниел. М.: Наука, 1978. 359 с. (Литературные памятники).
- Ссылка калмыков 1993 — Ссылка калмыков: как это было. Сб. док и мат-лов / сост.: П. Д. Бакаев, Н. Ф. Бугай, Л. С. Бурчинова и др. Т. 1. Кн. 1. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1993. 261 с.
- Hirsch 2012 — *Hirsch Marianne*. The Generation of postmemory: writing and visual culture after the Holocaust. NYC: Columbia University Press, 2012. 308 p.
- Kotkin 1995 — *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995. 639 p.
- Wertsch 2002 — *Wertsch J. V.* Voices of collective remembering. New York: Cambridge University Press. 2002. 212 p.
- References**
- Alexander J. C. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. G. Olkhovikov (transl.). Moscow: Praxis, 2013. 639 p. (In Russ.)
- Bakaev P. D., Bugay N. F., Burchinova L. S. et al. (comps.) The Kalmyk Deportation: How It Was. Collected Documents and Materials. Vol. 1. Book 1. Elista: Kalmyk Book Publ., 1993. 261 p. (In Russ.)
- Carroll L. Alice's Adventures in Wonderland. Through the Looking-Glass, and What Alice Found There. N. Demurova, S. Marshak et al. (transl.). J. Tenniel (illustr.). Moscow: Nauka, 1978. 359 p. (In Russ.)
- Dzhundzhuzov S. V. Consolidation and resettlement of Orenburg Kalmyks to Kalmyk Autonomous Oblast: Pavel I. Zhemchuev's organizing efforts. In: Bakaeva E. P., Kukanova V. V., Lidzhieva I. V., Ochirov U. B. (eds.) The Great Russian Revolution in Destinies of South Russia's Peoples. Celebrating the 100th Anniversary of the Russian Revolution (1917). Conference Proceedings (Elista; September 13-14, 2017) Elista: Kalmyk Scientific Center (RAS), 2017. Pp. 169–178. (In Russ.)
- Guchinova E.-B. M. 'Everyone has one's own Siberia': two stories of the Kalmyk Deportation (interviews with S. M. Ivanov and S. E. Naranova). *Oriental Studies*. 2019. No. 3(43). Pp. 397–422. (In Russ.) <https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-43-3-397-422>
- Guchinova E.-B. M. Everyone has one's own Siberia. *Forum for Anthropology and Culture*. 2005. No. 3. Pp. 400–442. (In Russ.)
- Guchinova E.-B. M. Everyone has one's own Siberia: deported Kalmyks in Soviet Central Asia. *Diaspory*. 2008. No. 1. Pp. 194–220. (In Russ.)
- Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012. 308 p. (In Eng.)
- Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995. 639 p. (In Eng.)
- Ochirov U. B. Kalmykia: 1919 – early 1920s. In: Maksimov K. N., Ochirova N. G. (eds.) History of Kalmykia: From Earliest Times to the Present Days. In 3 vols. Vol. 2. Elista: Gerel, 2009. Pp. 237–294. (In Russ.)
- Wertsch J. V. Voices of Collective Remembering. New York: Cambridge University Press, 2002. 212 p. (In Eng.)